

А. ГОРДЕЕВ



**МОЛОДОЙ
БОЯРКИН**

ИРКУТСК 1988

Александр Гордеев
Молодой Бояркин

«Автор»

1983

Гордеев А.

Молодой Бояркин / А. Гордеев — «Автор», 1983

Роман «Молодой Бояркин» о реалиях жизни 70-80 годов, теперь уже прошлого столетия, о становлении молодого человека. Сегодня роман может быть интересен тем, кто родом из 20 века, и молодёжи, которая могла бы сравнить свою молодость с молодостью родителей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Существование смерти на белом свете Николай Бояркин впервые осознал в четвертом классе, когда длинным зимним вечером читал при настольной лампе рассказ Короленко "Дети подземелья". Там рассказывалось, как одной бедной больной девочке Марусе мальчик,

сын судьи, принес куклу. Девочка очень обрадовалась, но утром отец ее, Тыбурций, вернулся

игрушку и сообщил, что Маруся умерла. Пораженный той несправедливостью, что у больной

девочки отняли куклу, Николай спокойно отнесся и к слову "умерла", и к описанию маленькой покойницы с немного приоткрытым ротиком. Он даже заплакал из-за этой куклы,

но тут-то и понял, что кукла Марусе уже не нужна. В первый момент Николай даже не мог точно уяснить, почему именно не нужна, но потом догадался, что, выходит, умереть – это вовсе не то, что уснуть. А может быть, и уснуть, но только не просыпаться потом никогда, никогда... Вспомнились основательные прямоугольные ямы могил. "Как же это я туда?!" – с

ужасом подумал Николай. Раскрыв рот и вытаращив глаза, он долго сидел, уставясь в ослепительную лампочку. Каждый предмет вокруг, каждая мелочь – все было страшным оттого, что все, оказывается, имело конец. Эти пустые слова "конец" и "никогда" заморозили.

Ледяная мысль была не только в голове. Ее испугалось и тело, Все нутро стискивалось в один комок, тесный до острой боли. Николай отбросил картонную обложку учебника, чтобы

отвлечься. На мгновение это удалось, но тут же ужас ударил такой сильной волной, что Бояркин услышал шум возбужденной крови в самом себе. Николай понял, что, для того чтобы отвлечься, нужно двигаться. Он поднялся, разобрал постель, разделся, выключил лампу и лег. Отец, мать и маленькая сестренка Анютка уже спали. Они тоже были такими же,

как он, смертными. Их потом тоже никогда, никогда не будет. Вообще все люди – смертные.

На полу тихо лежала плоская и страшная полоса лунного света. Сердце так стучалось из груди, что Николай впервые его услышал и испугался, решив, что это кто-то потусторонний

отсчитывает секунды его жизни. Он влез под одеяло, заткнул уши, но тиканье только усилилось. Да, это отсчитывалось его время. Оно не может отсчитываться слишком долго.

Эта тоненькая ниточка сердца не может сокращаться всегда. Николай откинул одеяло и увидел, что в лунный свет мягко вошла кошка. Он подхватил ее, теплую, и положил рядом.

Кошка свернулась и замурлыкала. "Счастливая ты, – прошептал ей Николай, – ты ничего не

понимаешь". Но и сам он не мог еще полностью осознать, как это можно откуда-то взяться,

быть, а потом насовсем исчезнуть. Ведь это же так просто – жить, жить, жить.

Заснул он незаметно, совершенно обессиленный, на скомканной простыне.

Мучения Бояркина продолжались много вечеров. Смерть представлялась ему

пропастью, в которую он тоже когда-нибудь полетит, и если уж это неизбежно, то полетит не тихо и покорно, как другие, а ворвется в смерть с таким криком, что эхо разнесется по всем ее закоулкам.

А потом это гнетущее переживание вытеснилось другим – ярким и по счастливому мучительным: Николай впервые влюбился. Ее звали Наташа – Наташа Красильникова.

У нее была русая косичка и чуть раскосые глаза, Она была отличницей. Бояркин скрупулезно копил

в душе все волнующие впечатления. Как-то на дне рождения у дружка – Игорька Крышина

ему выпало сидеть рядом с Наташей и есть пельмени из одной тарелки. У него тогда дрожали

и руки, и ноги. Увидев в этом случае нечто символическое, четвероклассник не спал почти

всю ночь. Позже на пришкольном участке он в паре с Наташей сажал саженцы. Это показалось еще значительней, чем с пельменями. Но Наташа его не замечала. Тогда

Николай отважился на записку, а когда принялся писать, то блокнотные листки пошли один за другим.

Туда надо было выложить всю душу, а душа впервые обнаруживалась вдруг такой громадной.

Слова "я тебя люблю" были много раз написаны и прописью, и печатными буквами, в различных рамках, с восклицательными, вопросительными знаками, с многоточиями и, наконец, зашифрованы цифровым кодом, ходившим по школе. Цифры, которые замечали

такую необъятную фразу, казались магическими. Сочинение, написанное на одном дыхании,

он, боясь перечитывать, аккуратно упаковал в конвертик и, не зная, что еще придумать, написал с обеих сторон "совершенно секретно" и нарисовал черепа, какие обычно изображают на высоковольтных столбах. Однако этот сильнейший заряд остался без внимания. Николай: замкнулся, похудел. Через неделю написал еще. Потом еще. И вот ему в

руку вложен краткий ответ. Наташа смеялась надо всем, а больше всего над пельменями. Дома Николай несколько раз перечитал записку, потом присел перед печкой, поджег уголочек

листка и смотрел до тех пор, пока злые слова не почернели и не рассыпались золой. Он плакал, но слезы не вылечили и не освободили.

Первой его мечтой стала мечта о море. Николай завел своеобразную "мечтательную" тетрадку с рисунками, с вырезками из газет и журналов, с цитатами из книг, с толкованием

романтических терминов: ахтерпик, шпангоуты, полубак, ватерлиния, киль, клотик. От таких

слов кружилась голова, и дышалось глубже. На обложке тетради выведен девиз, которым стали строчки из слышанного по радио стихотворения: "Пусть будет жизнь достойно прожита: ведь после этой не дадут другую". Под "достойным" подразумевалось сделаться моряком и проплыть по всем морям и океанам. Он видел себя в бескозырке, в бушлате, в тельняшке и в брюках клеш!

Часто, сидя на крыше, Николай пытался вместо округлых лысых сопок вокруг увидеть голубую бесконечную даль. Неужели воды могло существовать больше, чем в Шунде, которую местами можно перекинуть плоской, зализанной плиточкой? Правда, при разливе

Шунда расширялась, Рассказывали, будто на лугу, что ниже села, стояла когда-то целая улица, которую слизнуло наводнением. Теперь же там намечалось строительство сразу нескольких улиц: в силу реки уже не верили. Море не поддавалось никакому воображению, и

даже во сне его корабль, похожий на белую двухэтажную школу, шел по Шунде, а Николай,

стоя на мостике, приветствовал оба берега сразу.

А потом, в один летний с высоким небом полдень, мечта вдруг переменялась. Для Елкино давно были привычны самолеты, прочеркивающие в высоте меловые полосы и бухающие при переходе звукового барьера так, что рассыпались звонкие поленницы, Но в этот раз самолеты показались совсем близко. Сначала они зависали высоко над селом, потом

беззвучно падали до самых крыш, молниями проносились над домами и огородами и, снова

ввинчиваясь в высоту, кругами заходили на прежнее место. Так повторялось несколько раз.

Шоферы наблюдали за самолетами с подножек. Конюх Василий Коренев, ехавший верхом на

конный двор, натянул поводья и смотрел, приложив руку козырьком. Пацаны взлетели на крыши. Насчет полетов было много мнений. Кто-то даже заявил, что это хулиганство.

Бояркин был потрясен, обнаружив во вполне привычном голубом и зеленом мире оглушительный свист, бешеную скорость, ослепительный блеск серебряных молний. Уж если

стоило кому позавидовать на этом свете, то лишь человеку в этой молнии. Через несколько

дней у Николая появилась другая "мечтательная" тетрадка. На обложке – самолет и прежний

девиз. Достоинно прожить жизнь, оказывается, значило совсем не то, что он думал раньше.

Первая тетрадь медленно, по листочку была сожжена. Но все было так ослепительно, что старое не стоило ничего. Тогда же он решил: с глупостью, с заблуждениями покончено. Бесплезно прочитанные книги забыть, напрасно прожитое время вычеркнуть, Он стал зачитываться книгами о летчиках, настоял, чтобы мать выписала специальный журнал. Летать захотелось страстно. Во сне он летал самыми разнообразными способами, которые

наяву оказывались смешными. Но и наяву он придумывал невообразимое. Школьная библиотекаря поразила как-то тому, что Бояркин добрый час сидел, разглядывая одну картину, на которой мужик с крыльями, привязанными к рукам, летел вниз с колокольни. Библиотекаря, глядя на торчащий вихор Николая, подумала, уж не будущий ли это художник перед ней, а Бояркин в это время всерьез размышлял над тем, нельзя ли научиться

летать просто так, без всего, даже без крыльев. Дома пробовал тренироваться. Много раз прыгал с табуретки, напрягая волю, чтобы хоть чуть-чуть задержаться в воздухе, и настырно

думал: "Все равно научусь". Земля не понимала его, и всякий раз притягивала к себе с неизменной силой, но вера в возможность свободного парения осталась у Бояркина такой

сильной, словно ему по ошибке откуда-то из глубин эволюции достался птичий инстинкт,
с которым человеческое здравомыслие не могло сладить.

К этому времени мысль о смерти была уже постигнута, и однажды, снова прислушавшись к страшным часам внутри себя, Николай перевел свою мечту в другую плоскость. Ведь существует же теория Эйнштейна, которая обещает жизнь подольше,
если

лететь в ракете со скоростью света. Правда, скорость эта была пока недостижимой, но не достигнут ли ее к тому времени, когда он закончит школу, поступит в летное училище, а потом в отряд космонавтов?

Но разочароваться пришлось очень скоро. Достаточно было вообразить прощание с родителями, с друзьями, с Наташей, хоть та и не замечает его. Они смотрят на тебя уже
как

на покойника, потому что твой полет будет длиннее их жизней. И ты их сразу всех увидишь в последний раз. Вернешься – и не увидишь ни одного знакомого лица. От дома твоего и следа

не осталось, на вещи своего времени можешь взглянуть лишь в музей – они потрескавшиеся,

поблекшие, как в музее декабристов, куда всем классом ездили на экскурсию за победу по металлोलому. Как же быть там одному? Как без матери, без отца, без сестренки? Взять
бы их

с собой. А еще бы взять Игорька, Наташу и всех остальных. Но бывают ли такие ракеты?
Нет

уж, ладно – лучше на Земле, да со всеми вместе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Девятиклассник Николай Бояркин опаздывал на первый урок. Под ботинками приглушенно хрустели матовые ледяные пузырьки, лежащие рядами в промерзшей тракторной колее. Николай не замечал их и не слышал хруста. Он не обращал внимания
на

то, какая стояла погода, и не знал, многим ли сегодняшнее утро отличалось от вчерашнего.

Ему было наплевать и на то, произошло ли что-нибудь в мире, пока он спал, или все осталось по-прежнему.

А между тем еще с вечера сгрудились над Елкино студеные плотные тучи. Небо, как грязную, мутную воду, какой было полно и на весенней земле, кружило резким, порывистым

ветром. И ночью, в разгар этого столпотворения, на берегу Шунды раздалось два коротких

тупых выстрела. Свирепый ветер ударил звуки о галечник, и, разбившись, они растворились

в утробном земном гуле. После этого возмущение стало затихать, и тучи успели расплзтись,

пока до рассвета прошло восемь обыкновенных холодных часов. Воздух отстоялся до сини, и

собаки, осмелевшие только с рассветом, начали перелаиваться по всем улицам. Бояркин
не

ощущал тревоги. Неладное он почувствовал лишь в школьном вестибюле. Дверь за его

спиной, придернутая пружиной, хлопнула непривычно гулко. Николай остановился и впервые за всю школьную жизнь услышал тиканье больших маятниковых часов в коридоре.

На табуретке не оказалось технички тети Дуси. Вешалки стояли пустые, с трубчатыми стойками и крючковатыми хребтами. Многие двери были распахнуты. Лишь в кабинете физики сидела плачущая Наташа Красильникова. Бояркин осторожно тронул ее за локоть.

Наташа отпрянула и взглянула красными глазами.

– Генку убили... Генку Сомова... На берегу, у нового моста, – едва выговорила она, не стыдясь мокрого носа.

– Что?! Как это – убили? – машинально переспросил Бояркин, неприятно поражаясь некрасивости девушки, которую любил.

Генку Николай видел накануне под вечер, когда помогал отцу закатывать в ограду мотоцикл. Генка поздоровался с отцом. Он был в темно-синей куртке, в офицерских сапогах,

начищенных до блеска, с сеткой, где болталась пустая трехлитровая банка. Шел он, конечно,

не только за молоком, но, главное, в интернат к Ленке Казаковой. А Шунду он перешел у нового моста, потому что появился из переулка. Николай потому его так подробно запомнил,

что Генка был кумиром. Он побеждал на многих спортивных районных соревнованиях. Занимался боксом, тренируясь в Глинке, куда за десять километров ездил на велосипеде.

Но

больше всего Николай завидовал Генке потому, что именно его и любила Наташа. Его любила

Наташа, а он дружил с Ленкой Казаковой... Конечно же, мир был устроен бестолково, но Бояркин еще не задумывался над этим.

Прибежав на речку, Николай увидел там большую толпу людей. Чувствуя, как от бега закололо под ложечкой, он перебежал по мосткам к свободному пространству в толпе, где кто-то лежал под брезентом. Из-под брезента виднелся лишь один старый сапог, уткнувшийся носком в камешки. Все смотрели на этот сапог, каблук которого почти наполовину был сношен и испещрен дырочками от множества когда-то сидевших, но давно

выпавших гвоздей. "А ведь сапоги-то у него старые", – удивленно подумал Николай. Он сдвинулся немного в сторону и увидел сетку с банкой молока. Позже стало известно, что сначала Генка забежал к тетке за молоком и уже потом – к Ленке. Встретившись, они сидели

на перилах крыльца, и пили молоко прямо из банки. Но выпили немного, потому что вечер

был прохладным.

Убийцу, Андрея Кверова, арестовали в то же утро. Для отвода глаз он вертелся у моста на велосипеде. Но подозрения на него были слишком велики.

Несколько дней происшествие было главной темой разговоров. Обычно перед покойником всегда ощущается какая-то вина, но в этот раз она удвоилась от того, что убит

был десятиклассник, которому жить бы да жить, и удесятерилась от того, что, оказыва-

ется, это убийство несколько лет зрело у всех на глазах. Учителя вспоминали, например, что у

Кверова всегда, пока он учился в школе, было пристрастие к плеточкам из разноцветной проволоки, с которыми он разгуливал на переменах. Учителя часто отбирали их, и Кверов

делал новые. Был даже забавный, как считали, случай, связанный с этим. Как-то плетку отобрала пожилая литераторша, завуч Лидия Никитична.

– Что это такое? – спросила она.

– Реостат, – ответил Кверов.

– А что такое реостат?

– Ну, это для тока...

– А-а, ну что ж... – произнесла Лидия Никитична и возвратила проволоку.

В учительской она рассказала это для иллюстрации мысли, что теперь, увы, даже плохие ученики знают больше преподавателей.

После седьмого класса Кверов не пришел в восьмой, и школа вздохнула с облегчением. До седьмого класса Сомов и Кверов дрались почти каждую неделю. Потом приутихли. Но когда Сомов учился в десятом классе, а Кверов то работал в колхозе, то болтался дома, драки возобновились и стали яростней. Причина их вражды была проста – Кверов добивался повиновения сверстников и всех, кто помладше, а Сомов повиноваться не

хотел.

Последняя драка была за день до убийства около интерната. В этот раз от Генки заодно влетело дружку и подпевале Кверова – Веткину, сухому, кадыкастому парню, который

учился в параллельном десятом. Генкина сила, с каждым годом возрастающая, почему-то не

подавляла, а только разъяряла Кверова. Побитый около интерната, он пообещал сквозь зубы:

"Убью!". Но в драках этим пугают слишком часто, и Генка только усмехнулся.

Следующий день потребовался Кверову для обдумывания и подготовки. А уже вечером они с Веткинским поджидали Генку на берегу, спрятавшись за железобетонными плитами. Холодный ветер со свистом и шипением распарывался о бетон, но холода они не чувствовали. Дрожа от возбуждения, много курили. Все их напряжение уходило в слух. Малейшие подозрительные звуки заставляли Кверова медленно подниматься, сжимая двустволку. Наконец – легкий скрип досок, хруст галечника под ногами. Ночь была темная,

хоть глаза выколи, и Веткин пошел удостовериться, что это Генка. Заглянул в самое его лицо

и прибежал назад. Кверов уже занял свое место на дорожке с ружьем в опущенных руках, решив стрелять навскидку без предупреждения, сразу, как только определится силуэт. Сначала, чтобы не промахнуться, бить дробью, потом картечью. Секунды растянулись. Темнота сократила расстояние, а Сомов шел теперь настороженно и тихо и вдруг возник совсем рядом.

– Стой! – неожиданно, вместо того чтобы стрелять, крикнул Кверов.

Генка остановился, напряжился, ожидая нападения.

– Проси прощения, – потребовал Кверов.

– Это за что же? – спросил тот с усмешкой.

– Проси, или я тебя убью!

– Ну, иди, попробуй. Кишка тонка...

– Застрелю как собаку! Разве ты не видишь вот это?

Теперь Генка различил ружье, но насмешливый тон сменить не мог.

– Не убьешь, потому что ты трус, – сказал он и метнулся вперед.

Кверов успел выстрелить – к этому были готовы все его мышцы. Звук выстрела прошел мимо его сознания – просто тишина покачнулась и продолжилась дальше. Он услышал только, что кто-то убегает по звонкому галечнику, и вспомнил, что это Веткин.

Сам

же он заранее наказал себе выдержать выстрелы спокойно. Теперь даже дрожь исчезла. Сомов упал вовсе не так, как показывали в кино – не замедленно, как бы сопротивляясь, а резко, как будто даже вперед выстрела. Но лежал он неподвижно, на животе плашмя, щекой

на гальке. Маленькие камешки около головы слабо отсвечивали черным. Видимо дробь ударила кучно и разбила лицо.

Кверов осмотрелся вокруг, присел и ощупал Генкины руки – на левой поверх перчатки был зубчатый кастет из толстого оргстекла. Вот почему после его ударов оставались по

всему

телу ссадины и ушибы. Около правой руки лежало что-то белое. Кверов испугался неожиданного пятна, а, разобрав, что это молоко, вскочил и пнул, но банка не разбилась

и не

откатилась, а лишь метнулась в сетке, зажатой Генкиными пальцами – даже непонятно, почему он ее не бросил перед броском – боялся разбить? Хотел просто прорваться и

уйти?

Кверов, одумавшись, вздохнул, наставил ружье в голову, осторожно поправил стволы – картечь осталась в левом стволе, а висок невелик. Намечено же было именно в висок.

Второй

выстрел оглушил. Кверов испугался и побежал.

Перед похоронами его привозили к Генке. Кверов долго, с недоумением смотрел на изуродованное лицо и был непроницаем. Вокруг тоже все молчали.

– Посмотри, зверь, что ты наделал, – сказала какая-то женщина.

Кверов взглянул прямо на нее и улыбнулся. Его тут же увели.

У Генки была только мать, а у матери он был единственным сыном. Заботы о похоронах взяла на себя школа, сельский Совет и прочие общественные организации. В конце концов, десятикласснику были оказаны такие почести, каких не оказывали ни фронтовикам, ни заслуженным колхозникам. Сомов был положен в фойе клуба, и около

него

менялся почетный караул. На кладбище произносились речи, и Генку неожиданно

назвали

отличником учебы, прилежным, исполнительным, лучшим комсомольцем школы. Эта

ложь

делала Генку лучше, Кверова омерзительней, а всех остальных непричастней.

* * *

Бояркин тоже стоял в почетном карауле и видел лицо с перебитым носом и с синими дырочками от дроби. Сползший бинт открывал круглое отверстие на виске, в котором белела не то кость, не то вата. Руки покойника на черном впитывающем свет пиджаке, желтели, как восковые, а каштановые волосы отсвечивали здоровым, живым блеском. На пальцах четко проступила тонкая узорчатость кожи, и Бояркин почему-то вспомнил, что узоры каждого человека неповторимы. Все три дня про Генку говорили: "Ему бы жить да жить". Николай не вдумывался в эти слова, но у гроба вдруг понял, как это глубоко и страшно – еще бы жить да жить, но на самом деле уже никогда не жить.

На кладбище, когда гроб стоял на двух ломах, брошенных поперек могилы, зависнув

перед входом в землю и в забвение, Генка был неузнаваем до того, что даже мать, прощаясь,

поцеловала его как чужого, с брезгливым ужасом на лице.

Потом, когда обыденно и просто застучали молотки, Николай пошел блуждать среди могил по сухой цепкой траве, скрылся от глаз и дал волю слезам. Пронзительная мысль о смерти была притуплена этими свободными слезами. Выплакав все и успокоясь, Бояркин перелез через штакетник и пошел домой.

Через неделю после этого Николай вместе с товарищами стоял на клубном крыльце и ждал начала фильма. Навалившись на перила, все шелкали семечки и поплевывали вниз. Уже вечерело. От автобусной остановки расходились люди, ездившие в центр. Кто-то в темной куртке и в сапогах, свернув за палисадник, замелькал в голых черемуховых кустах.

"Генка куда-то ездил", – отметил Николай и замер от своей ошибки... Так что же, выходит, это

действительно было так, что Генку Сомова убили, что он действительно лежал на берегу, а

потом в этом самом клубе с чем-то белеющим в голове, с дырочками от свинцовых дробинок?

Да, все это было не в кино, а было увидено собственными глазами, и, значит, теперь, когда ты

можешь стоять на крыльце и дышать этим холодным, но уже с привкусом весеннего тепла воздухом, значит, теперь среди всей этой прекрасной обыденности Генки все-таки уже не существует. В это почему-то никак не верилось...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мечтания свои Николай доверял дружку-соседу Гриня Кореневу. Гриня был на год старше, но Бояркин слушал с любопытством, потому что сам он жил совсем другим – в основном все дни пропадал на конном дворе; зимой помогал отцу чистить навоз, гонять лошадей на прорубь, а летом пасти на лугу. Ему очень рано доверили опасное взрослое дело

– объезжать молодых коней. Для Николая Гриня всегда был готовым, взрослым человеком.

Разговаривая, они обычно сидели на листовничных бревнах в ограде Бояркиных и шелкали семечки.

– Как-то у тебя все несерьезно, – сказал однажды Гриня, выслушав новые мечтания о летнем училище, – все как в сказке.

– Почему это несерьезно? – обиженно спросил Бояркин.

– Не знаю. Мне не объяснить.

– А ты попробуй.

– Ладно, как-нибудь попробую, – посулил Гриня.

И однажды он попробовал.

...Было лето. Жара в тот день началась почти с самого восхода, и полдень был таким ярким, словно само солнце яичным желтком вытекло на бедную землю. Жарой, кажется, были ошеломлены не только люди и животные, но и все неживое: потрескавшиеся доски крыш и заборов, хрусткие плетни, бревна, истекающие чистой, невысыхающей смолой. Стояло такое ленивое спокойствие, что даже дорожной пыли – горячей и мелкой, как мельничный бус, не хотелось взлетать из-под сандалий. Вода в Шунде была теплее парного

молока. Николай сидел в речке до тех пор, пока в голове не стало мутно, как после качелей,

но пока шел до дому, загорелая кожа покрылась беловатым налетом, и захотелось снова залезть в воду.

Мать с самого утра закрыла ставни, и в избе было прохладно. Николай слазил в подполье, напился молока прямо из мокрой трехлитровой банки, отдув сливки в сторону,

и

улегся потом горевшей спиной на прохладный пол. Сквозь ставни проникал острый солнечный лучик, в котором висели редкие светящиеся пылинки, но даже их свечения хватало для освещения всей комнаты. Николай задремал.

Очнулся он от тычка в бок, открыл глаза и увидел облупленный Гринин нос, почувствовал жар, принесенный его телом.

– Поехали к деду Афоне на пасеку, меду поедем, – предложил Гриня.

Николай никогда не бывал на пасеке, и ему было заманчиво туда попасть. Да и Гринин дед, прихрамывающий, добрый, с белой бородой, очень ему нравился. Николай согла-

сился

сразу же, но на улице Гриня объявил, что ехать предстоит верхом на лошадях, без седел. Около отцовского трактора Николай еще вертелся, подавая ключи, а с лошадьми дела не имел. Но отказываться было поздно.

Село стояло на небольшом пригорке. Ребята спустились в широкий, звенящий кузнечиками луг, где собирались строить дома. Далеко, у крутого изгиба реки паслись две лошади. Сквозь струящиеся испарения они были видны, как сквозь бутылочный осколок. Бояркин понял, что сегодня от этой прекрасной жизни нельзя ожидать ничего хорошего.

– А жарковато, – сказал он, уж не зная, чем и остановить товарища.

– Дождь пойдет, – спокойно сообщил Гриня, кивнув на запад, где действительно чуть потемнело, да и в воздухе появилось какое-то "потяжеление".

Убедившись, что ничего не изменишь, Николай наметил для себя пестрого, будто в заплатках, конька. Гриня легко поймал обоих коней в узды, связанные по дороге из расплетенной веревки, и рассудил по-своему.

– Воробей тебя сбросит, – сказал он, – а вот Волга кобыла смирная.

Николай подчинился, потому что насчет коней с Гриней могли рассуждать только конюхи. Гриня помог сесть верхом. Пока с разговорами ехали тихо, Николай все пытался найти удобное положение, которое никак не находилось. Но неожиданно Гринин Воробей рванул и сразу пошел махом. Кобыла тут же дернулась следом, и Николай, едва не слетев

и

забыв о всяком управлении, уперся руками в ее раскаляющийся хребет. Пролетев с кило-

метр, разгоряченный и радостный Гриня остановился и усердно отругал Воробья за его дурной нрав, пожаловался на плохую узду, но про свою заскорузлую, как старая картошиной, пятку,

которой он незаметно пришпоривал коня, Гриня промолчал. Теперь его Воробей, разгорячено

переступая, шел боком с завороченной головой, а через минуту снова дернул, и попытка для Бояркина повторилась. Так было потом еще несколько раз. Небо на западе стало уже темно-

синим. Про мед Николай забыл после первого же рывка.

– Я больше не могу, – сказал он, наконец, – давай повернем.

– Ниче-его, доедем, – упрямо ответил Гриня, – ты ноги-то не свешивай, а покрепче бока зажимай. Вот так, смотри...

Показывая, он снова отпустил повод. Так они поравнялись, наконец, с торчащими плитами древнего могильника в стороне от дороги. До пасеки оставалось недалеко.

– Все! – непреклонно заявил Николай. – Я поворачиваю.

Гриня в этот раз уступил, но не с огорчением, а с еле заметной улыбкой.

Брызнул дождь, взметнув запах пыли. От капель кони запередергивали кожей, и от них понесло сладким потом. Ребята развязали с поясов рубашки и надели. Дорога тянулась

под

скалистой обрывающейся горой, вдоль реки, гладь которой была исчеркана пересекающимися обручами.

– Пошли вброд. Тут мелко, – предложил Гриня без всякой причины и тут же направил коня в воду.

Однако кони почти от самого берега пошли вплавь.

– Эге-гей! – уцепившись за гриву, восторженно заорал Гриня. – А ну, пошли веселей!

Николай собрал все свои силы, чтобы мужественно дотерпеть мучения, Они оказались на острове Меж-Шунды с густыми черемуховыми кустами и длинной вымокшей травой, льнушей к конским ногам. Гриня прищпоривал Воробья уже с открытой издевательской усмешкой. В небе несколько раз отрывисто бухнул гром. Дождь так свирепо лупил по

глазам,

что смотреть можно было только вниз, на мелькающие копыта, и Николай, не успевая увертываться, получил несколько хлестких оплеух набрякшими ветками по лицу. Боли

он уже

не чувствовал – было не до нее.

Скоро они перебрали протоку, отсекающую остров, потом на мелком шумящем перекате пересекли саму Шунду и, завершая круг, снова оказались на лужке, где поймали коней. Здесь же их отпустили.

Гроза, короткая, громкая, но не слишком обильная среди жаркого дня, уже иссякла.

Перекат что-то неразборчиво говорил, играя бликами, как рыба чешуей, а трава на берегу тихо блестела чистыми каплями. Над селом на темно-синем фоне изогнулась радуга –

тугая,

полная, сквозь один конец которой просвечивал недалекий пригорок с беленым домиком

и

маленькими фигурками людей. Небо поверх радуги было почему-то синее, чем внизу,

словно

промытое Елкино начало отсвечивать само по себе.

Николай и хотел бы сердиться на Гриню, но почему-то не мог. В его штанах все

полыхало каким-то легким пламенем, но теперь, слава богу, пытка осталась позади. На

душе

Николая было так радостно, что, если бы никакой пытки не было, то ее бы даже не хватало.

– Жаль, медок-то не попробовали, – съязвил Гриня.

– Жалко, – согласился Николай, – Но чего ты хотел, никак не пойму.

– Хотел лишнюю дурь из тебя выветрить, – сказал Гриня. – Сунь-ка руку в штаны.

Бояркину и самому хотелось проверить, что к чему. Ему казалось, что все в нем

расхлестано. Он еле передвигал ноги, не понимая, почему Гриня идет как ни в чем не бывало.

– Ты смотри-ка, кровь, – с притворным изумлением сказал Гриня, увидев руку

товарища, вытащенную из штанов, – а я думал ты из одного воздуха состоишь. У тебя

же все

мечты, мечты...

Николай с недоумением взглянул на своего сверстника, говорившего взрослыми

словами. А тот как будто уже и забыл обо всем. Выжимая на ходу рубаху, он смотрел поперх

села.

– Раз, два, три, четыре... Опять четыре полосы, – огорченно сказал Гриня. – И почему это говорят и даже в книжках пишут – "семицветная" радуга? Что же в других местах семицветная, а у нас только такая? Чем мы хуже других? Или, может, мы не все полосы видим? Наверное, надо как следует присмотреться...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бабушка Николая Бояркина – Степанида Александровна Колесова жила на другой улице около правления колхоза. Она родилась и выросла в Елкино, там же ее мать Лукерья

наворожила и жениха: однажды утром в Крещение дала блин, велела прокусить в нем дырки

для глаз, выбежать за ворота и посмотреть в этой маске на улицу.

– Ну и кого ты там увидела? – спросила мать, когда Степанида заскочила с мороза в избу.

– Да никого. Только Артюха Хромой на санях куда-то поехал, – сообщила дочь.

– Ну, так вот, – заключила Лукерья, – мужа твоего будут звать Артемием.

Так потом и вышло. Мужем ее стал Артемий Колесов, и Степаниду прозвали Артюшихой.

Дом свой Артемий поставил рядом с правлением колхоза, на главном перекрестке сельской жизни, потому что сам он был одним из главных активистов и, как наиболее грамотный, работал бухгалтером.

Отслужив до войны срочную, Артемий привез в деревянном сундучке набор пузырьков с фольгой внутри. Приспособил их на этажерке, связал проволочками, и этажерка

вдруг заговорила, запела хором, заиграла целым оркестром. Вечерами люди стали сходиться

к дому Колесовых, рассаживаясь на лавочке, на завалинках. Артемий ставил черный блин на

подоконник, и все слышали ни много ни мало, а государственные новости из самой Москвы.

Другой такой же блин Артемий приспособил в правлении. Бывало, там работают, а Степанида включит радио и смеется, представляя, что в конторе бросили всю работу и слушают. Но надолго не оставляла.

Артемий приходил сияя. Был он высокий, большой. Огненно-рыжие волосы ершом, а лицо усыпано веснушками – в селе его считали страшным. Конечно, не картинка, зато даже с

виду прочный и настоящий.

– Что же ты, Степанидушка, дослушать-то не дала? – спрашивал он, понимая озорство жены.

– Так вам же работать надо, – как ни в чем не бывало, отвечала она.

Как-то летом Артемий с неделю помогал в поле, а в воскресенье, надев белую рубаху, пошел в контору выправить бумажные дела. Степанида включила радио, и радио сообщило

ему про войну.

Артемий ушел сразу, а с войны напомнил о себе только двумя письмами да похоронкой. Семеро их детей остались на одну Степаниду. Работая все годы не покладая рук,

выбиваясь из последних сил, она представляла, что трудная, неблагодарная жизнь была в Елкино и легкая, хорошая – где-то на стороне. Ее брат Андрей, как бы подтверждая этот вывод, перекочевал со своей семьей и с матерью Лукерьей на станцию Мазурантово. От колхоза его посылали в тот леспромхоз за пилами, и он высмотрел, что прожить там легче.

Степанида уехать не смогла, но детей своих убежденно настраивала на лучшую жизнь где-то

вдалеке. Старших, наиболее крепких, ей пришлось попросту выжить из дома, из села.

Младшие оказались податливей – Никита остался в городе после армии, а Полина и Людмила

уехали сразу после школы.

В лето, когда разъехались почти все, просторная ограда Степаниды полностью заросла стелющейся мягкой травой, и на душу старухи пришло успокоение оттого, что жизнь, когда-

то клокочущая по всем закоулкам большого хозяйства, перетекла теперь в другие, более счастливые места. Так прошел год, второй... Очень обрадовал ее тоненький черемуховый пруттик, проросший у самого крыльца от оброненной ягодки. Степаниде понравилось сидеть

на прогревом солнцем крыльце и смотреть на этот хлипкий росток. За свою жизнь она привыкла наблюдать подрастание по отметкам на колоде, по коротким штанам и рукавам,

но

тянущийся пруттик давал удовлетворение более глубокое. Ростку она тоже желала добра,

но

его для этого не требовалось пересаживать. Было что-то согревающее в том, что он дол-

жен

был вырасти, процвести и высохнуть здесь. У Степаниды появилась мечта – в полное цветение черемухи сфотографироваться на крыльце вместе с кустом, с домом, и карточки разослать на память детям. А тогда уж и умереть спокойно.

В селе осталась только Мария с мужем Алексеем да с детьми Колькой и Анюткой. И поэтому этих последних она жалела больше всех, а Кольку, который дневал и ночевал у нее,

наставляла брать пример с дяди Никиты – служить в городе и после армии домой не возвращаться.

Подначиваемый бабушкой, Николай частенько приставал к отцу с вопросом – почему они никуда не уедут? Почему бы, например, не уехать на Байкал, как это сделал дядя

Гоша?

Дядя Гоша был непререкаемым авторитетом. Он ездил на легковушке под серым выцветшим брезентом, с двумя жесткими скамейками по бортам, между которыми всегда бренчали какие-нибудь железяки. Николай любил с ним ездить. Ехали они как-то...

Солнце

жарит, пыль в носу щекочет, а дядя песни поет. Какое слово племянник загадает, с таким словом дядя песню запоеет.

– Ух, что-то нас затрясло, – сказал он однажды в дороге, – надо скорость прибавить, тогда ямы будут незаметны.

– Как это? Почему? – удивился Николай.

– А ямы нас трясти не будут успевать. Оно в жизни так и есть, племяш... Чем сильнее живешь, тем меньше мелких ям.

Николай тогда не все еще понимал, но ему такое общение нравилось. Ни у кого не

было столько книг, как у дяди Гоши. Именно он первый в селе сделал у себя в доме городское

отопление – когда топили печку, наверху урчал бак, а по батареям булькала горячая вода. Отец часто хвастался, что его шуряк – голова, и любил рассказывать истории о том, как кто-нибудь пытался обдурить его по части техники и как это не удавалось.

В том, что дядя Гоша уехал потом из села, Николаю тоже увиделось какое-то преимущество. По радио поют: "Славное море, священный Байкал..." И жить рядом с ним,

наверное, не шутка. И хотя говорили, что уехал он, во-первых, из-за ссоры с председателем

колхоза, а во-вторых, чтобы дочери учились в музыкальной школе, Николай считал, что просто дядя способен на то, на что другие не способны.

Через два года отец поехал гостить на Байкал и взял Николая с собой. Что это была за станция, где жил дядя! Темный еловый лес, глубокий снег, теплая зима. Дядя Гоша работал

начальником цеха деревообрабатывающего комбината и так же был в почете. Квартира у него

была настоящая городская. Был и телевизор, о чем в Елкино только мечтали. Теперь дядя поразил знанием хоккея. Он вел по инженерному расчерченные графики, помнил результаты

многих матчей и каждую команду пофамильно. Но он уже не ездил на легковушке, и никакого интересного разговора тогда не вышло.

Николай потом просто заболел этой байкальской станцией. Отец отговаривался тем, что его не отпускают из колхоза, тем, что никто не купит их старый дом. Но однажды, когда

сын прицепился особенно крепко, он объяснил по-другому.

– Ты понимаешь, – сказал он, – не могу я уехать. Видишь эти голые горы... В них особенного-то ничего нет, но привык я к ним. Мне нигде не нравится. Ты, наверное, не поймешь...

Но Николай понял. Сам как-то уезжал на месяц всего за пятьдесят километров в пионерский лагерь "Саранка". Родители не хотели пускать, мол, из села ездить в лагерь смысла нет. Он – в слезы, а, оказавшись в красивом лесном лагере, начал вдруг считать

дни до конца сезона. Запомнилось возвращение. С остановки он шел медленно, основательно оглядываясь по сторонам, обращая внимание на то, что раньше не замечал. Дома он сразу заглянул в большую комнату с круглым столом, ярко освещенную солнцем. Из кухни пахло

свежим хлебом, который мать пекла каждый третий день. Хлеб устало лежал на лавке под полотенцем, и от него шло тяжелое тепло. Было тихо, и Николай вдруг понял, что все это –

его.

Мать, прикрыв глаза тыльной стороной ладони, спала поверх одеяла в спальне, отделенной от кухни желтой занавеской. От занавески все там было ясно-желтым: и белые

стены, и подушки, и блестящее колесико швейной машины, стоящей в углу. Николай несколько минут успокоено смотрел на мать, на ее раскрытую ладонь с мелкими черточками

и маленькими мозолями. Конечно, мама поднялась сегодня, как и обычно, раным-рано, а

теперь прилегла на минутку. Мать вдруг, словно удивившись чему-то во сне, проснулась и тут

же вскочила.

– Приехал!

Скоро Николай уже сидел перед стаканом молока из подполья, а мать, похлопав ладошкой по горячей булке, отозвавшейся глубинным гулом, отрезала хрусткий ломоть, особенно вкусный на боках, где корка была шершавой, потому что ей приходилось лопаться

и вытягиваться, когда булка поднималась на жару. Вот в этот-то момент Николай хорошо понимал, что значит быть дома. Но потом это впечатление забылось, и все снова стало привычным, незаметным. Николай знал про себя, что все равно он когда-нибудь уедет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В год гибели Генки Сомова в селе случилось еще одно несчастье. В колхозном табуне началась эпидемия, и всех коней нужно было уничтожить. Несколько мужиков соорудили на

лугу круг из щитов и сгрудили туда коней. Потом им по очереди набрасывали на голову аркан

и трактором вытягивали из загона – кони были рабочие, сильные. Конюх Андрей подходил к

каждой бьющейся, придушенной лошади и стрелял в голову из мелкашки.

Гриня смотрел на это, остолбенев. Отец его – угловатый мужик с круглым кадыком на горле, с длинным редким чубом только что загонял коней и теперь сидел в сторонке на еще

теплом седле. Гриня стоял рядом с ним, но когда, уже после пестрого Воробья, волоком потащили какого-то другого, еще более любимого им коня, Гриня, оскалившись, бросился на

Андрея и, вырвав ружье, хрястнул прикладом о землю. Андрей, опомнившись, поймал его,

стиснул сзади.

– Ва-аська! – заорал он, поворачивая бледное лицо к Кореневу – старшему. – Забери его! Зачем ты его привел!

Гринин отец медленно поднялся, швырнул узду и, ссутулившись, пошел прочь.

После восьмого класса Гриня уехал учиться в ветеринарный техникум.

Бояркину тоже было жаль коней, он даже отказался смотреть, как их стреляли, но поступление Грини в техникум не одобрял. Такой ход жизни представлялся ему слишком обыденным, скучным, без "полета". Сам Николай собирался шагать пошире, и в тетрадке с

самолетом на обложке он особенно жирно выделил слова Циолковского: "Человек полетит,

опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума". Слова "на силу своего разума"

Николай подчеркнул дополнительно, что должно было постоянно напоминать ему об учебе.

С учебой же, особенно по самым важным для летного училища предметам, происходило что-

то странное.

История казалась нудной, неинтересной. Увлекательной она была лишь в седьмом классе, когда с начала учебного года пришел новый историк. Выглядел он старше молодых

учителей – выпускников института, вместе с которыми приехал. Он был невысокий, с

крепким летним загаром, с белесыми щетинистыми усами, с жилистыми руками. Бояркину

почему-то запомнились и первые его жесты, и первые фразы. Сначала историк не назвал своего имени и для знакомства не стал поднимать всех по списку. Он положил новенький журнал на стол, прошелся у доски, критически посмотрел на всех и вдруг спросил: – А что, ребята, вы любите историю?

Класс подавленно молчал, потому что утешить учителя было нечем.

– Конечно, любите, – спокойно, словно констатируя факт, продолжил учитель, – как же ее не любить. История – ведь это вся наша жизнь, а не просто школьный предмет. Я

много

размышлял о жизни, и об истории. И я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы будем размышлять об этом вместе.

За несколько минут в классе произошел переворот – история стала любимым предметом, а историк – кумиром. Его уроки были интересными и разными. Учебник он

почти

не открывал, но часто зачитывал что-нибудь из других, разбухших от закладок книг: исторических, художественных, каких угодно. Его страстное увлечение историей было

как

порыв ветра, который завихряет и всех остальных. Не выучивших урок, если такие находились, он не ругал, а просто не уважал, но это было куда неприятнее двойки.

Десятиклассники, у которых историк был классным руководителем, часто оставались

после

уроков просто посидеть, поговорить с ним.

Но после зимних каникул учитель не приехал. Вместо него на первые уроки истории приходила завуч Лидия Никитична и рассказывала, что их любимейший Анатолий Федорович оказался липовым учителем с поддельным дипломом и что его, слава богу, вовремя разоблачили. Да, он работал раньше в школе в соседней области, но, увы, в

качестве

завхоза. Лидия Никитична рассказывала об этом многословно и назидательно, считая,

что

этот случай может иметь для учеников некий воспитательный эффект.

Десятый класс объявил бойкот ее урокам, за что староста и комсорг получили выговоры. Но за неделю возмущение спало. Спала и любовь к истории. А в понедельник

из

города приехала молодая дипломированная историчка, которую уже во вторник прозвали Курицей.

А какой невыносимой стала в девятом классе физика с приездом нового учителя, выпускника университета. Он был низенький желтовато-смуглый, как китаец, с криво-

ватыми

ногами, с руками и плечами в одну дугу. Первое время его авторитет держался на том,

что он

был самбист-перворазрядник. Но скоро это перестало иметь смысл. Уроки он вел лицом к доске, исписывая ее вдоль и поперек. В класс он смотрел два раза – когда доска была еще чистенькая и когда на ней не оставалось свободного пятка. Иногда при выведении очередной формулы у него что-то не совпадало, и он дискутировал сам с собой. В этом случае он иногда оборачивался, и если с кем-то из учеников встречался взглядом, то

обоим

становилось неловко, взгляды тут же расцеплялись; физик возвращался к своей доске, а ученик к какому-то своему делу.

Бояркин в это время увлекался сочинением стихов, а Игорек Крышин карикатурами. Однажды он нарисовал физика в виде паука, который, вылупив глаза, посиживал на паутине

из формул. Глаза получились очень похожими. Рисунок, как обычно, пошел по рядам, вызывая смех, и вдруг очутился в руках учителя.

– Чья работа? – спросил он.

– Моя, – признался Игорек.

– Это что, карикатура?

– Дружеский шарж...

– Что-о!?! – закричал физик. – А ну вон из класса!

Игорек отказался. Учитель стал выволакивать его силой. Крышин, разозлившись, приподнял преподавателя от пола. Класс привстал. Игорек состоял в сборной школы по баскетболу и по весовым категориям самбистов, наверное, подходил к полутяжеловесам,

и

все-таки в физике в ту же секунду что-то сработало – он мгновенно освободился от захвата, и

все увидели, что там, где только что была голова Игорька, мелькнули его же ботинки.

Рука

Игорька попала на болевой прием, и он, перепугавшись, заорал на всю школу. Разнимать

их

прибежал сам директор.

Оказия вышла и с английским языком. С самого начала изучения языка класс разделили на две группы. Группа, в которой оказался Крышин, попала к старой учительнице,

а та, в которой был Бояркин – к молоденькой. В этой группе до десятого класса сменилось четыре учительницы. Все они были примерно одинаковыми, но больше всех запомнилась последняя – Ирина Александровна, преподававшая в девятом. На уроке все сидели с открытыми ртами, а Ирина Александровна простым русским языком рассказывала о

своём

муже летчике, к которому она скоро уедет, о романтическом знакомстве с ним, о любви, о свадьбе, о городской жизни. Ненавистные учебники служили здесь лишь маскировкой.

В последний год класс объединили. В группе Ирины Александровны все знали, какая красивая жизнь ожидает всех впереди, а в группе старой учительницы неплохо знали английский язык. Память об Ирине Александровне, которая была и классным руководителем,

хранили фотографии, сделанные в походах, на вечерах и просто на уроках. Вспоминая ее,

долго еще верили, что она была доброй и желала всем добра.

* * *

Весной, через год после Генкиных похорон, Бояркина и Крышина позвали на поминки. Генкины одноклассники из села разъехались, но его ровесниками стали нынешние

выпускники. Генкина мать была седая, с не оттаявшими грустными глазами. Гостям она поставила пиалки с коричневым гречишным медом и часто напоминала:

– Ешьте, ешьте, ребятки. Геночка-то сильно медок любил.

Ребята его ели, но он, искристый и пахучий, склеивал рот. В этот раз от матери они узнали о Генкином намерении поступить в школу милиции. Николай давно понимал, что Генка с его зубчатым кастетом тоже не отличался особым милосердием, но то, что он

мечтал

о чем-то большом, искупало все.

Возвращаясь, они должны были перейти речку через те же дощатые мостки, Подступы к ним были теперь загромождены строительным материалом. Преодолевая грязные весенние

лужи, прыгали с плиты на плиту. В двух местах Игорьку, который был в резиновых сапогах,

пришлось перевозить Бояркина на себе.

Доски мостков стали уже черными от ветра и воды. Они гулко стучали под ногами.

Ребята были почти на своем берегу, когда Игорек прыгнул с мостков на леса вокруг опоры.

– Подымить надо, – сказал он.

– Отцу, что ли рассказать про твое дымление, – задумчиво произнес Николай, присаживаясь рядом.

– Придет время – сам узнает, – заметил Игорек.

Он закурил и бросил спичку в водоворот у самых подошв.

Они любили такое подтрунивание друг над другом, любили говорить друг с другом грубовато, но именно потому, что были лучшими друзьями. Николай, правда, постоянно завидовал Игорьку.

Все, начиная с рисования палочек в первом классе, у того выходило легче и проще.

Два года назад оба увлеклись баяном, но Николай остановился на "Во саду ли в огороде",

а

Игорек по учебникам музыкального училища осилил теорию музыки и к десятому классу играл на баяне, на гитаре, на клубном пианино, руководил школьным вокально-инструментальным ансамблем. Почти каждый день под вечер Бояркин заходил за Игорьком,

чтобы идти на баскетбольную секцию, и еще из ограды слышал его баян. Игорек сидел в майке, в синих сатиновых трусах перед проволочной подставкой для нот на круглом столе.

Босые ноги на холодном полу грел одну об другую. Николай трогал его за плечо. Игорек, продолжая играть, поднимал лицо и кивал, но Николай, видя, что он не понимает, кто и зачем

пришел, нажимал какую-нибудь пуговку. Разлад в музыке возвращал Игорька на землю, и тут

выяснялось, что он еще не обедал, не чистил под стайкой и не поил корову с телёнком.

Тогда

приходилось им обоим делать все с бешеной скоростью.

Теперь они сидели около опоры будущего моста, глядя в одно, загруженное плитами место.

– Вон там он лежал, – сказал Игорек.

Николай кивнул.

– Ты не передумал еще со своим музыкальным училищем? – спросил он.

– Ты так спрашиваешь, как будто сам что-то передумал, – сказал Игорек.

– А вот, кажется, сейчас-то и передумываю. Летное училище для меня закрыто. Ты сам знаешь, что у меня с физикой, да и с другими предметами. Но дело даже не в этом. Несерьезно у меня с этим летным. Идти-то надо не туда, где красивее, а туда где от тебя

будет

больше толку. Гриня Коренев пошел в ветеринарный техникум, и это понятно почему.

Понятно, почему Генка думал о школе милиции. Ты хочешь в музыкальное – у тебя талант. А

я? В моей голове действительно воздух – ни с того ни с сего – летное. Я вот что подумал: у

Генки же было серьезное намерение, так? Но почему же оно должно пропасть из-за какого-то

Кверова? Конечно, Кверова мы боялись, но, в сущности-то, кто он такой? С такими надо бороться. Вот я и сделаю первый шаг. А в школу милиции, наверное, и физика не сдается. – Да-а, – произнес Игорек, задумчиво покачивая головой, – складно подвел. Однако ты умеешь себя поворачивать. Я бы так не смог.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Первая в жизни поездка на поезде за три часовых пояса захлестнула лавиной впечатлений. Это было серьезное, независимое ни от дня, ни от ночи перемещение в громадном поезде на массивных колесах, с мягкими полками и пластиковыми столиками. Поначалу, после неумелого прощания с родителями на перроне, Николаю в этой обстановке

показалось мучительно одиноко. Он посидел на боковом сиденье, потом насмелился влезть

на полку, и полка, ласково покачивая его, понесла, наконец, из привычной, надоевшей жизни

в другую, счастливо-неизвестную жизнь. В эту жизнь он устремился и по собственной тяге, и

по авторитетным напутствиям бабушки Степаниды, и по наставлениям городских учителей,

особенно последней – классной руководительницы Ирины Александровны. Никогда потом

Николай не будет настолько далек от той простой истины, что самое дорогое место для человека – это то, где он родился и вырос. Уезжая, молодой Бояркин думал, что для него навсегда кончилось это село, которое началось еще, когда, по преданиям старых людей, "царь

надумал Сибирь осваивать". Основателями его были двенадцать солдат с семьями, которыми

двадцатипятилетнюю службу заменили вечным поселением. Помнились несколько фамилий

первых переселенцев и среди них – Бояркины. Позднее на обжитое место начали сселять отбывших каторгу и политических. Одновременно в округе возникли и казачьи поселения

для перехвата беженцев, которых в Забайкалье называли "батхулами". Однако даже те двенадцать семей солдат были не первыми здешними жителями. Должно быть, они и сами

гадали, что это за каменные плиты торчат из земли в виде прямоугольных коробок? Лишь недавно, в наше время, поработали там археологи и оставили у наибольшего скопления плит

табличку:

Могильник.

3 – 2 век до н. э. охраняется государством.

Как видно, древним было это место – одно из тех, где люди живут всегда.

Проспав с полчаса, Бояркин положил подбородок на руки, и стал смотреть в окно на тянувшиеся горы, поля и перелески. Так проглазел он до вечера, а, проснувшись утром, снова

установился в окно, с удивлением обнаружив, что земля стала какой-то гладко-неуютной. Это

была равнина, которой он никогда не видел. С утра же Николай начал напоминать себе, что

впереди экзамены и сейчас не время бесполезно таращить глаза. Он ругался и все-таки не мог оторваться от окна до тех пор, пока от долгого лежания не начало ломить голову.

К тому

же надо было сходить в туалет и умыться.

В туалете, в зеркале, Николай в первое мгновение не узнал себя. Прямо на него смотрел молодой растерянный человек, с чуть продолговатым лицом, с бритыми

несколько

раз и снова прорастающими усами. Он ли это? Его ли это вчера провожали родители? А правильно ли все то, о чем он раньше думал, мечтал, кто он вообще такой? Оказавшись

без

знакомого поддерживающего окружения, Бояркин с ужасом осознал свое полное беспомощное растворение в новом непривычно мире.

На нижних полках в его купе располагались два старика. Еще лежа наверху, Бояркин прислушивался к ним. Одни говорил тяжелым, прокуренным басом. Голос другого был легкий и ироничный. Басом говорил старик с плоской редкой бородой. Судя по разгово-

рам,

он вез из Забайкалья целебный мужик-корень. Другой старик был с усохшим морщини-

стым

лицом. Он постоянно оглаживал клетчатую рубашку, застегнутую до самого колючего подбородка. Этот последний, которого звали Прокопием Ивановичем, был знатоком

всего,

начиная от засолки огурцов и кончая обстановкой в Китае, которой не знал никто. Он постоянно посмеивался над бородатым попутчиком. Если они играли в карты, то ссори-

лись и

надолго замолкали. А потом снова начинали с карт.

Когда Николай вернулся из туалета, их дела приближались к очередному перемирию, и появление молодого попутчика помогло этому. Объединившись, они расспросили: как зовут, кто родители, откуда, куда и зачем? Накормили его. Николаю пришлось пользо-

ваться

их добротой, потому что взять продукты из дома он наотрез отказался, ехать с харчами

ему

показалось стыдным, уж как-то совсем по-деревенски. Чтобы отблагодарить стариков, Николай пошел к проводнице за чаем, и, когда принес стаканы в подстаканниках, то оказалось, что старики уже опять поссорились.

После обеда бородатый пошел в туалет, где была небольшая очередь. В это время по радио сообщили, что в стране осуществлен запуск космической ракеты с человеком на

борту.

Тут же пошли песни и стихи. "Это сумма всех наших стремлений, это сумма усилий всех плеч", – торжественно декламировалось из динамика.

Бородатый вернулся, уже обсудив с кем-то такое радостное событие и приготовив новый неожиданный вопрос – как устроена в ракете уборная? Уж на этой-то проблеме его ученый попутчик должен был сломать себе шею.

Прокопий Иванович пригладил рубашку на груди и стал излагать такое, что Бояркин зафыркал, а молодая, хорошо одетая женщина на боковом сиденье поспешила в другое

купе.

– Ну, ты и загнул, – сердито сказал бородатый, – уж не знаешь, так молчал бы, болтун...

Через полчаса старик стащил с багажной полки рюкзак с широкими походными лямками.

– Сын должен встретить, – сказал он Николаю, не замечая посмеивающегося Прокопия Ивановича.

Теперь он начал внимательно всматриваться в окно, отыскивая знакомые приметы, когда же вагон пролетел по гудящему железному мосту, поднялся и надел простой клетчатый

пиджак, на котором оказались три ряда орденских планок и отдельно два ордена Славы. Прокопий Иванович засуетился, схватил рюкзак и, задыхаясь от его неожиданной тяжести, помог вынести в тамбур. Николай тоже пытался помочь, но в узком проходе

только

мешал.

– Где воевал-то? – перекрикивая скрип тормозов, спросил Прокопий Иванович у бородатого в тамбуре.

– В Белоруссии, под Смоленском, в Польше. В разведке, – ответил тот.

Поезд остановился, и он вышел на промазученый гравий какой-то маленькой, утонувшей в зелени станции. С платформы к нему шел высокий мужчина в мотоциклет-

ном

шлеме и в забрызганных грязью сапогах.

Через две минуты поезд тронулся. Пока Прокопий Иванович и Бояркин пробирались к своему купе, промелькнуло название станции.

Вечером они сидели друг против друга за маленьким столиком, смотрели в окно и думали каждый о своем. Лицо старика в последних отсветах солнца казалось грубым и бугристым, как ласточкино гнездо. Непонятно было, куда исчезла его насмешливость.

– Леспромхозовский я, – вдруг сообщил он, – правда, уж пятый год на пенсии.

Старуха, слава богу, есть. Внуков и детей уйма. Одна дочь в Ленинграде. Приглашают жить к

себе. А мы деревню любим, задумчивость, в общем. Жить-то ведь надо так, чтобы успевать

сообразать, что живешь. В Ленинграде, к примеру, или в Москве все бегут как угорелые. Бегут, бегут... Остановиться бедным некогда. Едят-то прямо на ногах в магазинах.

– В кафетериях, – с улыбкой уточнил Николай, которого сейчас как раз и притягивало это "бегут".

Он вообразил светлый и прекрасный город, в который приедет. Сначала пойдут старые маленькие, даже скособоченные домики, которые постепенно сменятся высокими и светлыми. Маленькие домики портили всю картину, а вот если бы, как в ворота, сразу вкатить в настоящий город... Николай даже вздохнул взволнованно.

– Зря я над ним смеялся-то. Он ведь фронтовик, орденосец, – говорил между тем Прокопий Иванович, – а вот у меня по-другому вышло. Нас, леспромхозовских, вначале взяли на войну, а потом вернули. Девки да бабы в нашей работе слабоваты. Тяжело было – тоже мурцовочки-то хлебнули... Война, она ведь по всей территории была, хотя сам-то

фронт

только с краю... Это уже в пятидесятых годах один военкоматовский увидел мой белый

билет

и говорит: ты же, мол, здоровый как бык. Ох, я и выдал ему! Они же сами мне этот билет всучили. Сколько я ходил, уговаривал. Но, с другой стороны, и они правы – надо было

кому-

то лес валить. А как по справедливости – кому нужно было на смерть идти, кому нет?

Как тут

рассудить? Вот у тебя деда есть?

– Нет, – ответил Николай. – Одного в сорок первом убили, другого, кажется, в сорок втором.

– Н-да-а, – напряженно пошевелив губами, пробормотал старик. – Вот тут и разберись... Если бы я погиб на войне, то не было бы моих шестерых девок. И внуков бы они

не нарожали. Но, может быть, твой дед тогда остался бы, и у тебя теперь было бы больше родни. Ты, конечно, и не думал об этом, а я на пенсии только о таком и думаю. Самое-то страшное в войне то, чего мы не понимаем и даже не можем по-настоящему понять.

Страшно

то, что сейчас не живут люди, которые не родились. И тут по справедливости не разберешь,

кто должен был погибнуть, кто нет. Никто не должен бы – вот и весь сказ. Но ведь погибли, и

надо как-то это объяснить.

К вечеру они остались в купе вдвоем, и Прокопий Иванович мог говорить, даже когда улеглись.

– У нас ведь тоже трудно было. Мы когда, добровольцами собрались, так нам говорят: от трудностей бежите. Народу у нас и вправду не хватало. Лес валили в одиночку. Брата моего старшего лесинной насмерть зашибло. Как ударило, только кровь из ушей, и все.

И меня

цепляло. Сюда вот, погляди-ка...

Весь день старик говорил об одном и том же, и Бояркин притворился спящим.

– Да что я могу рассказать, – вздохнув, еле слышно пробормотал Прокопий Иванович, – я это что... Тебе бы того, с орденами, послушать. А слушать-то надо, а то вы, молодые, сейчас как бы в аванс живете. Вот и ты, друг мой Колька, кто ты есть сейчас? Человек – не спорю. Две руки, две ноги и голова. Так ведь, люди сразу с такого начинались. А ты вот сейчас едешь в поезде, глазеешь себе туда-сюда. И одет, и обут, и все в твоём распоряжении.

А ведь это не всем давалось, не всем. Так чем же ты от других отличаешься? Да ничем, Но только все, что ты имеешь и видишь кругом-то – это все в аванс. Эх, полка-то... полка-то...

Прямо готовый матрас. Хорошо жить стали. В космос летаем, А ведь на ракеты много надо было силы накопить. Они ведь вон какие мощнющие. Какую свою силу в дело вложишь, такой силы это дело и есть. Может, и от моей силенки там немного...

Бояркину было неудобно, что старик говорит так откровенно, но потом догадался, что с какого-то момента он просто думает вслух, и даже слова "друг мой Колька" сказал для себя.

Можно было, конечно, и вникнуть во все, но до того ли?

Николаю понравилась атмосфера длинной дороги. Как здорово было видеть леса, поля, города, такие одинокие и беспомощные перед широтой пространства станции и маленькие полустанки. Как хорошо показалось ночью, в полусне, ощутить мягкие толчки тормозов, заметить в купе яркие вспышки пронсящих прожекторов, услышать голос сильных станционных динамиков, а днем увидеть залитый солнцем незнакомый перрон, людей с чемоданами, которые съехались на этот железнодорожный узелок или, напротив, разъедутся сейчас в свои села, поселки, города, о которых ты даже не слышал и, возможно,

никогда не услышишь. Разве могло это быть каким-то авансом, который якобы возможно оплатить?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первый же экзамен в школу милиции Бояркин завалил. Оценки стали известны вечером, и ему разрешили ночевать в общежитии еще ночь. На другое утро Николай с чемоданом вышел на крыльцо и нырнул в парк через дорогу. Минут пять просидел на скамейке, ни о чем не думая, лишь "согласуя" себя с новой обстановкой.

По тому, что особого расстройтва от провала не было, Бояркин должен был признать, что, несмотря на свои возвышенные рассуждения, ехал он сюда не столько для того, чтобы

поступить в училище, сколько для того, чтобы остаться в городе. Он, может быть, и приехал-

то именно сюда лишь только потому, что здесь была прочная подстраховка – здесь, в этом городе, жил материн брат Никита Артемьевич, который после армии не вернулся в Елкино.

Да, да вот это и было главным. Николай вспомнил, как два дня назад вечером он из окна седьмого этажа общежития увидел изгиб одной из самых великих сибирских рек, с длинным

мостом, по которому цепочкой тянулись зеленоватые, загадочно мерцающие огоньки. По набережной стояли высокие дома, от которых в летней бархатной темноте остались лишь разноцветные квадратики окон. В кино такое выглядело несравненно бледнее. "Кровь из носу, но надо поступить", – пронеслось тогда в голове, но эта-то мысль и выдавала жела-

ние во что бы то ни стало зацепиться в городе. Хочешь, не хочешь, а признай, что все-таки ты несерьезный, глупый гражданин.

В парке были широкие развесистые деревья, под которыми утром держалась прохладная свежесть, но свежесть особенная – городская, парковая. За витой оградой проводами и моторами гудела улица – напряженное русло сложной, цветистой жизни. Бояркин уже знал, что в полдень улица станет пыльной, знойной и страшно многолюдной. Он подхватил чемодан и подошел к старику, сидящему на соседней скамейке, – Дедушка, растолкуйте – как добраться? – спросил он, протягивая конверт. Старик разъяснил, а Николай записал все в блокнот.

Пассажиров в автобусе было мало, и постепенно Бояркин вместе со своим чемоданом продвинулся к водительской кабине. Верткость большого автобуса показалась ему даже непонятной. Поразительной была скорость встречных и обгоняющих машин, поразительна

смелость или дурость пешеходов, снующих перед самыми колесами, Первая жена дяди Никиты была из Елкино. Она приехала к нему, когда у дяди закончилась служба. А пять лет назад попала под большегрузный автомобиль. Два года назад

дядя снова женился. Эту жену звали Анной, и никто из сельских родственников еще не видел ее.

Водитель автобуса мимоходом через зеркальце взглянул на Бояркина, прикинувшего к стеклу, но тот на его внимание успел разулыбаться. Водитель взглянул на него уже поцепче и

с недовольным видом стал смотреть на дорогу.

На переезде через железнодорожную ветку автобус долго стоял, пропуская длинный состав с трелевочными тракторами, с черными цистернами и оранжевыми иностранными контейнерами, с желтыми бочками на колесах с надписями "квас". Все городское движение

пережидало другое движение, какое-то еще более обязательное. Куда и зачем все это шло?

Жизнь была многомерна, независима, непонятна. Как в ней тяжело разобраться! И что значил

в ней ты – абитуриент-неудачник...

Николай так и не дождался, когда водитель объявит его остановку. В растерянности выволокся он на конечной остановке и, увидев цифру на боку своего автобуса, обнаружил,

что он ехал совсем не в том автобусе – у парка он как-то умудрился их перепутать. А тут были другие маршруты, и справка старика была бесполезной – надо было снова у кого-нибудь спрашивать. Николай долго стоял и, наблюдая за людьми, пытался угадать человека

понасмешливей. Выбрал, наконец, одного полного, в шляпе, медленного, задумчивого. – Извини, парень, спешу, – ответил тот.

Николай вернулся на свое место, то есть на тот пяточок, на котором оказался, выйдя из автобуса. "А все же это плохо, когда никого не знаешь", – решил он. Потом Николай обратился к высокому курчавому парню в очках и с простым пузатым портфелем.

– Так тебе надо было в поселок Северный, – сказал парень, разобравшись, в чем дело, – а ты попал в Аэропортный. Это совсем другой конец. Садись на семьдесят третий авто-

бус и

как раз без пересадок доедешь до своей остановки.

Оказалось, что теперь надо ехать еще дальше. Улицы, улицы, остановки, перекрестки, светофоры – разве можно во всем разобраться? А ведь есть города и побольше, но это уж совсем страшно...

Дома у дяди Никиты оказалась только Олюшка – двоюродная сестренка. Она училась в четвертом классе, но, к удивлению Бояркина, сразу по-хозяйски захлопотала, поставила чайник на газовую плиту, а брату предложила освежиться в ванной.

Никогда еще Николай не погружался с головой в горячую воду. Красота! В воде становились слышными, как в наушниках скрипы, шипение, щелчки большого дома. В

ванне

после путешествия по городу было так хорошо и спокойно, что даже шевелиться не хотелось.

Никита Артемьевич, предупрежденный Марией, встретил его шумно, с крепкими объятиями. Несколько покровительственно он уже заверил сестру, что в любом случае пропасть племяннику не даст. Практичный Никита Артемьевич имел трехкомнатную кооперативную квартиру, дачу, "Запорожец" (пока "Запорожец"), чем и гордился перед сельской родней. Почему бы ему еще и племяннику не помочь?

Вечером сидели за столом, накрытым в комнате с люстрой. Свежий воздух был в этой здоровой семье культом, и все широкие окна, выходящие к акациям и кленам около дома, были распахнуты. Квартира походила на просторную веранду. Никита Артемьевич вслушивался в полузабытый елкинский говорок, засыпал гостя вопросами и смеялся. Красивая городская жена наблюдала за ними с улыбкой, открывая в муже что-то новое. Разгорячившись вином и разговорами, дядя позвал племянника во двор, на перекладину. Бывая в отпуске в Елкино и загорая на Шунде, Никита Артемьевич любил удивлять ребятишек ходьбой на руках. Смолоду он занимался гириями и гимнастикой "В армии у

меня

был закон, – рассказывал дядя, – куда бы ни шел, мимо перекладины просто так не проходи.

Хотя бы перелезь через нее".

Николай гордился дядей и еще с детства помнил его рассказы о многочисленных драках с блатными волосатиками, которых он бил так, "что только гитара брэнчала". И здесь

вокруг него сразу собрались ребяташки. На него, начавшего выделять выкрутасы на перекладине, стали с завистью оглядываться доминошники, устроившиеся под грибок. – А ну-ка, теперь ты попробуй, – спрыгнув, сказал Никита Артемьевич. – Пока воздержусь, – с улыбкой, признающей дядино превосходство, ответил Николай.

Никита Артемьевич сделал еще три захода и, хлопнув племянника по плечу, направился в подъезд. Николай был счастлив от этого хлопка.

– Будешь жить у меня, – сказал дядя перед сном, – до службы поучишься в ГПТУ на электромонтера. После службы попробуешь поступить еще раз.

– Хорошо, – не задумываясь, согласился племянник с этой программой.

Учеба оказалась еще скучней, чем в школе. К тому же в школе был Игорек Крышин и другие ребята. А со своими теперешними товарищами Бояркин никак не мог сойтись. Большинству из них тоже надо было протянуть до армии. После занятий они бесследно растворялись в городе, а на уроках трепались или стреляли из резинок. Самые серьезные подремывали или играли в "морской бой", Бояркин, если было совсем скучно, читал газеты,

для чего в перемены аккуратно складывал их по столбикам и прятал в карманы.

Больше всего ему нравилась эстетика и сама эстетичка – высокая, длинношеяя, с медно-рыжими волосами. Увидев ее, Николай понял, что женщин можно разделить на тех,

кто умеет ходить и тех, кто не умеет. Говорили, будто у Ольги Михайловны есть муж и сын,

но Бояркину из-за ее походки не хотелось верить, что она может жить так по-человечески просто, как другие.

Лишь программа эстетики показалась Николаю интересной: музыка, картины, книги, рассуждения о виденном и слышанном. Однажды Ольга Михайловна посоветовала сходить в

музей на юбилейную выставку местного художника Алексеева.

На выставке Николай стал ходить от картины к картине и смотреть так, как учили. И вдруг возле одной он словно приклеился. На картине было разваленное сено, на котором, покуривая трубочку, сидел не кто иной, как один елкинский старик – Пима Танин.

"Заливаешь, как Пима Танин", – говорили в Елкино тому, кому не верили. Но тому, кто не

хотел ехать на сенокос, обещали: "Там будет Пима Танин". Днем Пима работал плохо, увиливал. Его настоящая работа начиналась вечером у костра, когда он рассказывал смешные

небылицы. Темы подсказывали слушатели, и Пима не отказывался даже от самой невероятной. Одно условие было у него – чтобы не смеялись. Если смеются, значит, не верят.

А не верят, так и рассказывать незачем.

Обычно слушают его, давятся от смеха, убегают в сторону, чтобы прохохотаться. А если кто из пацанов соберется хихикнуть, тот тут же получит подзатыльник от кого-нибудь из

взрослых мужиков. Но хохоту после этого подзатыльника бывало еще больше – его уже ничто не держало, а Пима завернется в телогрейку и заснет. История останется без конца.

И

просить бесполезно.

Бояркин тоже бывал на сенокосе, тоже слушал Пиму, и теперь у него захватило дух от всплывших в памяти запахов костра, сена, конского пота. Он как будто услышал пощелкивание сучков в костре, хруст влажной, вечерней травы на зубах у коней, неторопливое размеренное кваканье лягушек на недалеком болоте.

На сене за спиной деда лежал еще парень в красной рубахе. Этот не напоминал никого. Николай, посмотрев по сторонам, направился было через весь зал к старушке-смотрительнице, сидящей на стуле, но вернулся и стал приглядываться снова. Вообще-то Пима Танин курил не трубку, а газетные самокрутки, хотя тут дело художника. Но уж,

зато

взгляд-то его хитрющий не спрячешь.

– Вам что, молодой человек? – подойдя, спросила смотрительница, заметив какой-то особенный его интерес.

– Да так... Дед тут знакомый. Не знаете, в каком месте художник эту картину нарисовал?

Старушка подошла ближе и некоторое время с интересом разглядывала старика, как будто проверяя, не знаком ли он ей самой.

– Да кто ж его знает, – ответила она, – у художника и спроси.

– Я? У художника?

– Напиши ему в книгу отзывов. Он ее по утрам просматривает.

Николай сел у маленького столика и стал читать отзывы. Поколебавшись, написал: "Понравился старик в картине "Минута отдыха". Кажется, я его знаю. Напишите, пожалуйста, в каком районе и в какой области вы его срисовали".

Потом Бояркин пришел через два дня. Ответа в книге не было. Спросил у знакомой смотрительницы.

– Пойдем, я покажу его автопортрет, – отчего-то невесело сказала она и пошла в другой зал.

– Ага, я его уже видел, – сказал Бояркин.

– Это его последний прижизненный портрет...

– Почему прижизненный?

– Вчера ночью Павел Петрович умер...

После этого Бояркин снова обошел все картины. Теперь он смотрел и думал не как учили, а по-своему. Он думал, что за каждой картиной длительные годы работы. А за

всеми

вместе – большая, нужная людям жизнь.

Выйдя из музея, Николай ощутил в себе порыв броситься по набережной и бежать очень долго. Чувствовать, что уже не можешь, но ни за что не останавливаться... Жить

так,

как он, – ходить шажком, дремать и почитывать газетки на уроках – нельзя. Нельзя, потому

что ни мелких шажков, ни дремоты, ни пустых мечтаний после тебя не останется. Вот

в чем

дело. "Черт возьми, да почему же я не поступил в школу! – вдруг мучительно пожалел Бояркин. – Осел, я, осел! Да ведь я же ничто! Меня вовсе нет!"

На другой день после занятий Николай нашел Ольгу Михайловну и сказал ей о смерти Алексеева. Она уже знала, но ее тронула солидарность ученика, который был, пожалуй, единственным из всей группы, кто по ее совету побывал в музее.

– Кажется, у тебя в городе нет друзей, – сказала она, – тебе нужен хороший товарищ. Я поддерживаю связь со студенческим молодежным театром. Там есть интересный парень –

Юрий Косицын. Приходи сегодня на представление, в перерыве познакомлю. Бояркин пришел. Спектакль был о комсомольцах двадцатых. По программе было видно, что Ю. Косицын играет главную роль. На сцене он был с кобурой, в кожаной тужурке.

Несмотря на как-то не "по-комсомольски" вздернутую губу, говорил отрывисто и решительно. К тому же был он студентом последнего курса медицинского института, а не то,

что какой-то пэтэушник... Николай стал бояться знакомства.

В антракте Ольга Михайловна провела Николая за сцену.

– Юрий, – сказал Косицын, протягивая руку Бояркину.

– Пригласи его в гости, – попросила Косицына Ольга Михайловна.

– Завтра воскресенье. Значит, в десять утра, – сказал Косицын и продиктовал адрес.

В десять часов утра Бояркин позвонил в квартиру нового товарища.

– Кто? – спросил из-за двери Косицын.

Николай смущенно замялся, не зная, как отозваться. Дверь чуть приоткрылась, потом распахнулась, и Косицын вдернул Николая в прихожую. Он, худой и узкоплечий, был в одних

трусах, поспешно надетых с каким-то перевивом.

– Ой, как же это чудненько, что ты пришел, – зашептал он, увлекая Бояркина на кухню, – прямо спас. Значит, так: эту посуду начинай переставлять из раковины на стол. Когда закончишь, переставляй обратно. И греми, пожалуйста, греми как можно громче. Разбей что-нибудь, если хочешь – это будет очень убедительно, реалистично. Давай,

потом

все объясню.

Он убежал. В спальне послышалось шушуканье. Упала и покатилась бутылка. Через несколько минут по коридору торопливо прошуршало платье. Щелкнул замочек на вход-

ной

двери. Бояркин чувствовал себя идиотом с этой дурацкой посудой.

Юрий пришел уже одетый.

– Молодец, хорошо гремел, – проговорил он, снисходительно улыбаясь, – сказал ей, что мать из деревни накатила. Злющая, говорю, рвет и мечет... Представляешь, вчера

после

спектакля подходит. Смазливенькая такая... В гости приглашает. Знает, что я медик, так

по

этой части смыслю. До нее ехать далеко, да и мало ли какие сюрпризы могут быть. Привел домой. А она утром уходить не хочет. Влюбилась за ночь, слезы льет. В общем, жуть.

Ну, все!

Мой руки, ставлю чайник. Нароботался я, оголодал.

Николай, натянуто улыбаясь, стал намыливать руки. Он лишь кивал головой, а говорил и о театре, и о городе, и о погоде один Косицын.

– Да уж опыт у меня кой-какой имеется, – вернулся хозяин к прежней теме, намазывая маслом хлеб, – могу кое-чем и поделиться. А-а... вспомнил, у меня есть наглядные посо-

бия.

Хочешь взглянуть?

Не дожидаясь согласия, он отодвинул кружку и принес из комнаты пачку порнографических открыток.

– Вот, кажется, сразу самая интересная, – сказал он, разглядывая первую и одновременно поднося кружку к вздернутой губе, – пожалуйста, четыре партнера, а нет,

нет,

нет, тут даже пять. Вот один-то внизу.

Бояркин никогда еще не видел ничего подобного, и поначалу кровь его зациркулировала с удвоенной силой, но чем дольше он разглядывал фотографии и чем детальнее разъяснял Косицын, тем омерзительней ему становилось.

Ушел он от Косицына через полчаса, не узнавая ничего вокруг. Хотелось упасть куда-нибудь в лужу, чтобы ездили по тебе вонючие автобусы и машины, чтобы топтали эти грязные женщины, которые прячутся за одеждой, за походкой, за равнодушными выражениями лиц, а на самом деле совсем другие. Такой великой грязи, казалось, невозможно было противостоять.

* * *

Бояркину никак не удавалось войти в шумную, запутанную городскую жизнь. В толпе с неповторяющимися чужими лицами он терялся, не ощущал себя собой. Весь человеческий

мир распался для него на маленькое, слабое "я" и на большое, цельное – "они". В Елкино каждый человек воспринимался объемно, сразу с именем, с фамилией и с прозвищем, с представлением о его родителях и о его детях, с видом дома, в котором он живет. А здесь все

эти "они" были словно контурами, вырезанными из бумаги, и назывались "вы", "будьте добры" и "простите", "пожалуйста". И всем, всему городу, всему миру было безразлично, живет или не живет на белом свете такой человек – Николай Бояркин. Часто, случайно увидев свое лицо, отраженное какой-нибудь витриной, или специально, но как бы отвлеченно

вглядываясь в зеркало, Николай подавленно отмечал, что и лицо его – это лишь один рядовой

экземпляр из бесчисленной разновидности лиц в толпе. Не было и друзей. Почему-то таких

ребят, как Игорек Крышин, больше не находилось. А до Игорька теперь было расстояние в

два часовых пояса. Игорек учился в музыкальном училище. В том же городе на биофаке училась Наташа Красильникова и уже как будто собиралась замуж.

Николаю теперь особенно сильно хотелось иметь девушку. Не за горами была служба в армии, и страшно было остаться совсем одиноким, без поддержки.

В училище была группа девчонок, будущих радиомонтажниц, Николай перезнакомился почти со всеми, и несколько раз ему даже удавалось влюбиться дня на два-

три. Поначалу он не заметил полноватую, круглощекую Женю, самую неразговорчивую и тихую. Разговорились они случайно, на демонстрации седьмого ноября, когда после трибуны

все группы перемещались. День выдался солнечным, и Женя была в легком осеннем пальто,

в желтой вязаной шапочке, которая над ее овальным личиком казалась грибной шляпкой.

Эта

шапочка Бояркину не понравилась, зато Женя умела так спокойно, но остроумно шутить,

что

рядом с ней становилось легко и просто. А глаза ее, зеленые и ласковые, как лето, завораживали и тревожили.

Колонна демонстрантов рассыпалась у сквера на набережной. Машины и автокары с плакатами, портретами и заводскими эмблемами разъезжались в разные стороны.

Маршрутные автобусы еще не пошли, и на остановках празднично шумели толпы. Николай и

Женя свернули в сквер. Женя рассказала, что в этом году она не прошла по конкурсу на факультет психологии и теперь занимается самостоятельно. Увлекалась даже хиромантией, и

в доказательство тут же прочла на ладони Бояркина, что жить он будет долго, счастливо и будет дважды женат, чем очень его рассмешила. С психологической стороны увлеклась она

театром. А как раз теперь штудировала книгу известного психолога Владимира Леви "Искусство быть собой" и практически испытывала его рекомендации. Кое-что пересказала

Бояркину, который, слушая ее с интересом, радовался, что наконец-то в его жизни появляется

что настоящее.

– А ведь мне скучно, мне тоскливо с тобой, – сказала ему Женя при третьей встрече, – ты не живешь, а существуешь. Почему твои дни исчезают бесследно? Надо искать себя, испытывать в разных делах, экспериментировать. Иначе из обывательщины не выпутаться.

– У меня есть дело, – неуверенно сказал Бояркин.

– Ну, зачем ты обмываешь себя? Ты же хороший парень, Человек дела горит, а не тлеет. Ты обыкновенный, серенький – "хороший лишь за то, что не плохой...", как это у Асадова. Таких на улице тысячи". Ты и внешне-то какой-то неопределенный. Надо выбрать

себе стиль, видеть себя каким-то конкретным, Вот я вижу себя, ну такой серьезной, вдумчивой и даже чуть мрачноватой. Ну, может быть, подобной Печорину. Помнишь?

А ты

какой? Ну вот, молчишь... Раньше я была совсем глупая и страдала из-за внешности. Но теперь я знаю, что я дурнушка, ну и что? Истинная красота – это одухотворенность. Ну,

вот

как у Ольги Михайловны. А значит, надо что-то иметь внутри.

Возможно, на Женином лице и присутствовала уже какая-то одухотворенность, но трудно было увидеть то, чего нет в тебе самом. Больше всего Женя поразила Бояркина признанием "я дурнушка". Сказав это, она в его глазах перестала быть дурнушкой, она случайно устранила единственное препятствие для его накопившихся чувств. Но куда теперь

деваться этим чувствам?

– Нет, ты все это серьезно? – спросил Николай. – Значит, нам не надо больше встречаться?

– На прощание я хочу обидеть тебя еще раз: запомни, что ты действительно серенький. Ты не имеешь своего. Ты не личность.

Женя повернулась и убежала в подъезд. Бояркин, ни о чем не думая, пришел на остановку и долго стоял, пропустив много своих автобусов. Наконец, сунулся в один переполненный и разозлился от толкотни и давки. "Ну ладно, вы еще услышите обо мне, – мысленно грозил он всем, кого видел в салоне и на улице. – И ты, Женечка, еще ахнешь". Николаю захотелось тут же, в пику Жене, стать таким серьезным и мрачным, чтобы этот Печорин и в подметки ему не годился. И служить он будет обязательно в десанте. Не слишком уверенно он знал об этом давно, еще с тех пор, как однажды вечером его остановили четверо парней, требуя денег. Николай не дал, и его несколько раз пнули. Не больно, а так, мимоходом, для смеха. Вечером Николай рассказал об этом Никите

Артемьевичу.

– И ты стерпел? – возмутился тот. – Да что за характер у тебя!

Николай тогда только вздохнул – а что еще оставалось делать? Но теперь уж все – пойдет в десант, в эти самые мужские войска, и после него станет таким человеком, что всякая там шелупонь будет просто расступаться перед ним на улице. А чтобы все это исполнилось, надо нажать сейчас на спорт: бег, перекладина, плавание. Не личность!

Подумаешь...

У Бояркина мечта. Он знает, что пойдет в армию (их из училища возили однажды в воинскую часть, давали стрелять из автоматов, показали казарму). Казарма была громадная,

от нее веяло какой-то дикой необжитостью и неуютом. Как можно было нормально жить в этом громадном, похожем на большой спортзал, но низком помещении, заставленном двухярусными кроватями. И тогда Бояркин вдруг с особой отчетливостью понял, как трудно

будет ему жить той жизнью, которая проходит в той казарме, если его ничего не будет связывать с внешним миром. И конечно, этой связью должна быть девушка, которая будет его

ждать. Понятно, что все это звучало на очень высокой душевной волне и вдруг он встречает

Косицина с его рассказами и его фотографиями. Вот откуда ему кажется, что все начинается

крушиться вокруг него.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В гулком военкоматовском дворе кипела толпа провожающих и призывников, которые сразу выделялись старой одеждой. Людское многоголосое брожение сопровождалось переборами гармошек и баянов, дребезжанием гитар и ревом полчища равнодушных магнитофонов.

В военкомате у призывников забрали паспорта и выдали военные билеты. Началом службы в билетах значилось сегодняшнее число, но никто не знал, где и в каких частях придется служить. На медкомиссиях Бояркина испытывали на вращающемся кресле, и он теперь не сомневался, что попадет в десант.

Подшли автобусы. Толпа зашевелилась сильнее. Николая никто не провожал – дядя был на работе, а его дети в школе. И домой в Елкино Бояркину перед службой съездить не удалось. Он первым влез в автобус и занял удобное место. Через минуту проход был завален

чемоданами и сумками, которые безжалостно топтали взбудораженные призывники. По салону поплыли волны сигаретного дыма, завоняло водочным перегаром. В этой обстановке

Бояркину вполне удавалось быть серьезным, вдумчивым и мрачноватым. Подсказка Жени

пригодилась – ему понравилась глухая замкнутость, он даже думал, что наконец-то нашел свое внутреннее лицо и, пожалуй, всю жизнь будет таким. Это приносило даже какое-то душевное удовольствие.

Через полтора часа колонна автобусов тронулась. За ней потянулись мотоциклы и легковушки провожающих. Отрываясь от хвоста, колонна долго кружила по городу и уже в

темноте остановилась у старого заросшего парка. Вечер был теплым, но стекло в духоте салона хорошо освежало лоб. Шла сортировка по частям. Скрывая волнение, Николай

заставил себя любоваться голубоватым фонарем на столбе, вокруг которого мельтешили весенние мотыльки. Время от времени в дверях появлялся перетянутый ремнями усатый прапорщик, набирал по списку группу и строем отводил ее в глубь парка.

Выкликнули, наконец, и Бояркина. Строй был неровный – все толкались, запинаясь о собственные чемоданы. Николай теперь уже с нетерпением заглядывал вперед, где на

всех

перекрестках главной аллеи стояли "покупатели". Группа прошла мимо молодцеватых десантников и остановилась около моряков.

– Товарищ прапорщик, ошибка. Я попал не в ту группу! – крикнул Бояркин, выпутавшись из строя.

– Фамилия?

– Бояркин Николай Алексеевич.

Сопровождающий повернулся к фонарю и, быстро проглядывая списки, морщился и бормотал что-то злое, отчего шевелились его рыжие усы.

– Отставить, Бояркин! – рявкнул он. – Ошибки нет!

Потом была дорога на поезде. Николай сидел на боковом месте и глядел в темноту, как в стенку. Жизнь ему представлялась какой-то безнадежной. Почему-то еще ни разу в этой жизни ему не удалось поступить как хотелось. А тут вообще! Оказывается, кто-то без сомнения знает, что ему лучше быть не десанником, а кем-то другим. Служить не два

года, а

три! Кажется, и сам он кое в чем виноват – наверное, просто не достойным оказался для десанта: нескладно отвечал на мандатной комиссии, слабо жал эспандер, не подошел

внешне,

хотя специально держался с напряженными мышцами и угрюмым "десантным" выраже-

нием

лица. "Но все равно я с этим не смирюсь", – думал Бояркин.

А следующей ночью такой же призывник, как он сам, стащил его с полки дневалить. И этому пришлось подчиниться. Николай уселся за столик первого купе и, окончательно продрал глаза, понял, что ему нужно не спать час, потом разбудить следующего по списку. Список лежал на столике – там были фамилии, номера полок.

По вагону гулял сквозняк, в тамбуре гремело железо. Бояркин, навалившись спиной на стенку, смотрел в противоположное окно. Чем дальше уходил поезд на запад, тем больше попадалось на пути станций, городов и сел. Время от времени фонари вырывали из тем-

ноты

один вход в приземистое здание какой-нибудь станции. Стремительно пролетали палисадники с густыми акациями, и снова – темь. Бояркин мучился и злился – не в том вагоне он едет, не в том вагоне дневалит. И днями Николай не отрывался от окна. Многое захватывало его в этой богатой впечатлениями дороге, и но, выдерживая характер, он пытался заглушить в себе любое волнение. Не туда едет, не туда... А пространство, "осваиваемое" поездом, снова открывалось таким громадным, что радостное удивление невольно примиряло Бояркина со случившимся. Теперь, когда проезжали города, Нико-

лай,

видел длинные колонны автомобилей, автобусов у шлагбаумов и вспоминал, как он сам

не

раз из такой же колонны наблюдал за пронсящимся поездом. Тогда движение, которому приходилось уступать дорогу, казалось более обязательным, более государственным. А теперь он сам состоял в этом, более обязательном, движении.

На третьи сутки пути в том купе, где ехал Бояркин, ребята окружили офицера и забросали вопросами: "Почему зеленая окантовка на погонах? Почему на ленточках

сопровождающих моряков надпись "морчасти погравойск"? Разве граница – это не пологие

столбы, собаки, маскхалаты, разве это не "лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит?"

– Вы забываете, что наша страна имеет и морские границы протяженностью десятки тысяч километров, – объяснял офицер, похожий на умного подтянутого учителя. – Их-то вы и

будете охранять. Вначале будете учиться в отряде морских специалистов на Черном море.

Вы

будете радиотелеграфистами, радиометристами, гидроакустиками, водителями малых катеров, сигнальщиками, комендорами. А после учебы разъедетесь по морским границам всего Союза. Хорошо у вас жизнь начинается, поверьте мне. Очень даже прекрасно.

Бояркин лежал на полке, лицом к стенке, и мысленно огрызался на каждое слово офицера. Когда-то в детстве он мечтал стать моряком, и от морских слов у него кружилась голова, но теперь это не имело никакого смысла. "Человек должен быть личностью, – твердил он себе, – а личности нужна твердость. У личности должны быть свои взгляды,

свои

намерения..." Жаль только, что иногда офицер говорил слишком тихо, и его было плохо слышно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

...Когда прошло ровно три года, старшина первой статьи Бояркин вспомнил первый день своей службы. Как раз позавчера закончилась очередная морская вахта и погранич-

ный

корабль, на котором он служил, отдыхал на базе.

Накануне вечером Бояркин заступил дежурным по кораблю и утром в "именинный день" его разбудил дежурный по низам. Сев на рундуке, Бояркин прислушался к монотонному гулу наверху и догадался, что это дождь. Оттого и спалось сегодня спо-

койно –

кондиционер доносил сюда, в глухую каюту без иллюминаторов, атмосферу дождя.

Николай тщательно выбрился, заодно подровняв ножницами электробритвы свои широкие усы, оделся, и не спеша, поднялся наверх. В ходовой рубке удачно, сразу на

нужной

странице, открыл вахтенный журнал и, записывая дату, почувствовал, что она словно бы знакома. Николай бросил карандаш в журнал и отошел к иллюминаторам. Время впервые

за

всю службу показалось быстротечным. Он с усмешкой вспомнил, как три года назад добивался чего-то своего, хотя этого своего еще не существовало, как петушился со сво-

ими

петушиными мышцами на медкомиссиях, а по дороге в учебку дулся на весь белый свет.

Но

уж в самом отряде дуться стало некогда.

* * *

Весь учебный отряд с классами, спальными кубриками, обширными столовой и кухней (камбузом), с кинозалом, с контрольно-пропускным пунктом, с библиотекой, с фотоателье, с парикмахерской – помещался в одном здании, отделанном под серый монолитный камень с многочисленными отростками, с дырами арок и широких дверей. В общих чертах здание походило на букву "П", в незамкнутой стороне которой простирался господин великий плац для строевых занятий, разводов, маршей и парадов. Здесь же правильными рядами стояли абрикосовые деревья, располагались спортивные площадки,

курилки, малые плацы для разводов в наряды. На дерзкое нарушение дисциплины похотела

кафе-веранда "Ветерок", но и "Ветерок" вынужден был своими зеркальными витринами отражать лишь голубое небо да серую стену главного здания.

Все парни, попавшие в учебку и названные там курсантами, были поставлены в такие условия, при которых им в жизни не оставалось ничего другого, как действовать, действовать, действовать. Гражданская расхлябанность и недисциплинированность проходили быстро – за девять месяцев в отряде ребята проходили, словно через еще одно рождение.

День в учебке начинался с интенсивной зарядки, которая иногда заменялась кроссом. Курсанты в трусах и ботинках коробками поротно выбегали из ворот части в улицу сонного

городка. Бежали молча, дыша и топя в такт. Для разбуженных курортников все они были одинаковы: худые, упругие, загорелые до черноты. "Вы самая энергичная и самая действенная часть населения страны", – убеждали их командиры, требуя еще большей активности. По ним можно было проверять часы – выбегали из ворот части в строго определенное время и так же возвращались. За это время утренним сквознячком вытягивало

из кубриков всю кислую ночную атмосферу. А после зарядки до завтрака времени было как

раз столько, чтобы успеть заправить постель, побриться, помыться холодной водой, сделать

приборку.

Других забот не предполагалось. И так в строгом расписании весь день. Все было максимальным – нагрузки на голову, нагрузки на мышцы. Все было подчинено одной цели.

Даже фильмы, показываемые дважды в неделю как бы для отдыха от трех уставов, несли те

же самые мысли, что и политические занятия. На учебу уходило даже положенное по уставу

личное время. Старшины советовали постоянно напевать про себя азбуку Морзе и все написанное, что увидят глаза, пусть даже письма из дома, читать морзянкой. Почти что так

оно и выходило, потому что после многочасовых занятий морзянка звучала в голове уже сама

по себе. Времени на воспоминания не оставалось. В первые месяцы службы многие курсанты получили от своих девушек письма, в которых те писали, что ждать три года

вместо двух они отказываются, и ребята воспринимали это как бы не острой неприятностью сегодняшнего дня, а неприятностью прошедшей, забываемой жизни.

Каждый вечер две сотни человек в большом кубрике одновременно бросались в кровати, несколько мгновений устраивались и, настигнутые командой "отбой", замирали.

В кубрике, только что шумевшем ульем, шум таял, словно в выключенном, остывающем радиоприемнике. Через распахнутые окна вкатывался шелест широколистных деревьев,

о существовании которых еще несколько секунд назад не помнили. Шелест доносился из какого-то параллельного не настоящего мира. В настоящем мире слышался стук каблуков старшины, медленно идущего по проходу.

– Три скрипа – поднимаю роту, – говорил он.

В кубрике под каждым из двухсот была скрипучая кровать. Насчитав три скрипа, старшина командовал: "Подъем!" Нужно было вскочить, надеть ботинки и встать в шеренгу

перед кроватями. Видимо, людей можно научить всему, и после нескольких таких тренировочных подъемов и отбоев кубрик засыпал без скрипов. Так глубоко и бесчувственно

Бояркин не спал никогда, но, для того чтобы бесшумно повернуться ночью на другой бок, он

как бы просыпался и поэтому утром помнил, что за всю ночь пошевелился один, два, самое

большее три раза. Восемь часов сна подзаряжали так, что, казалось, энергии хватит на сто лет. Но ее хватало ровно на один день. Засыпая, Николай каждый вечер продолжал видеть серые стены, которые словно завязли в глазах, и весь прошедший день казался ему от этого

серым, так же как в детстве бывали брусничные дни, если он ходил с матерью в лес, и вечером перед глазами плыли красные ягоды.

Долго Бояркину казалось, что серые дни можно лишь нумеровать и с удовольствием вычеркивать в календарике. Радостных событий на эти месяцы было немного.

...Как-то под теплым южным дождем смотрели представление театра музыкальной комедии... Осенью в подшефном колхозе убрали виноград и объелись им, а пропитанные

соком белые рубы с трудом отстирали содой... Соревновались в море на шлюпках, весло было сырым и тяжелым, оно то глубоко уходило в воду и его невозможно было сразу вытащить, то попадало между двух гребней и, лишь лизнув поверхность, ударялось о весло

товарища. Старшина на руле неправильно сманеврировал – шлюпки сблизилась, и весла

с треском перепутались. Потом отдыхали и любовались какой-то передержанной морской и

небесной голубизной. Кто-то из ребят осторожно приподнял мутноватую медузу, а когда опустил ее, то она медленно растворилась в воде, словно сама была водяным сгустком... Именно таких-то романтических впечатлений и требовала душа, но душа эта постепенно мужала, мудрела и начинала видеть еще, может быть, большую ценность дру-

гих впечатлений.

...В один из многочисленных трехкилометровых кроссов он пришел к финишу третьим из взвода, обставив даже тех, кто считался более сильным. После этого тошнило,

и почему-то сильно ныли зубы... Когда был шестикилометровый марш-бросок, взял на себя

чужие автомат и противогаз, но в норму спортивного разряда уложился... Шли строем с песней, и вдруг возникло такое чувство единства со всеми, что захватило дух... К вечеру

так устал, что не смог сложить рубу правильными кирпичиками. Старшина несколько раз разбрасывал ее, заставляя складывать заново, и вдруг, отодвинув Бояркина, его рубу сложил

товарищ – Костя Гнатюк из Днепропетровска.

* * *

Во время морского дежурства в ходовой рубке тесно и шумно: прокладывают маршруты и отдают команды вахтенные офицеры, гудят приборы, поступают доклады с боевых постов, корабль вибрирует от работы спрятанных внизу двигателей. Поэтому теперь

здесь кажется особенно спокойно. Приглушенный шум дождя воспринимается умиротворяющей тишиной. Совсем светло – до подъема десять минут.

Давно уже в этом особом мире Бояркин имел свое место. В последние полтора года на его фамилию приходили газеты и журналы. Каждого человека из небольшого экипажа он знал лучше, чем себя, хотя настоящих друзей не нашел. Много товарищей-радиотелеграфистов было на других кораблях бригады, в базе, на береговых постах технического наблюдения. К Бояркину на Балтику приходили письма с Дальнего

Востока, с

Амура, с Черного и Каспийского морей от товарищей по учебному отряду. К середине службы эта переписка ослабла, а кое с кем и прекратилась, но чувство общности, связанности осталось.

Письма от родителей приходили редко. Еще реже писали школьные товарищи.

Особенно нравились Николаю письма Игорька Крышина. Теперь он заканчивал четвертый

курс музыкального училища. Год назад женился. Его женой стала Наташа Красильникова.

Николай давно знал об их дружбе и понимал ее. Сблизиться им помогло то, что они оказались вдвоем в незнакомом городе. Бояркин снова завидовал Игорьку – и тут у него все

удачней. Интересная, должно быть, получилась у них семья – он музыкант, она биолог. Теперь Николай любил их обоих. Игорек прислал однажды стихотворение, посвященное фронтовику-танкисту, хозяину дома, в котором они снимали комнату. Стихотворение начиналось так: "Глубокие шрамы на лицах имеют свою выразительность..." Видимо,

Игорек

о многом передумал. "Знаешь, вырастаем мы как-то незаметно, – дописал он прозой, – и суть

нашего роста в том, что мы начинаем подпирать то, что лежало пока на плечах других,

Надо

понять, что сейчас именно наше поколение – самое крайнее из всех существовавших.

Именно мы отвечаем за все. Нам часто напоминают об этом, но до нас не доходит. А ведь от

этого не отмахнешься, ведь иначе-то и быть не может. Это независимо от нас... Уж извини за

мой высокий слог..." Бояркин ответил ему не менее высоким слогом, сознавшись, что

Игорек

высказал и его мысли. "Лучшего друга у меня не будет никогда", – думал Николай.

Пережидая минуты до подъема, Бояркин стоял, навалившись на заклиненное рулевое колесо. Бетонный причал блестел, как лакированный. Отблескивали темно-синие корабли,

припавшие к бетонной руке земли. Чехлы на скорострельных пушках почернели, и пушки

стали похожими на больших добродушных куриц, усевшихся на носу и корме каждого корабля. На пирсе у трапов, втянув головы в воротники плащей, стояли вахтенные. До присвоения старшинского звания Николай тоже дежурил у трапа и знал, что сейчас самое

неприятное для вахтенных не дождь, а медленное, тягучее время, от произвольного отсчета

которого невозможно отвлечься. Но этим-то временем Бояркин в свое время неплохо воспользовался. На гражданке ему было некогда разбираться в себе. А уж про учебный отряд

и говорить нечего, но именно тогда – в стиснутое время учебки, окончательно перестав принадлежать себе, он ощутил неотложную потребность разобраться. Наверное, это было своеобразным инстинктом самосохранения, потому что личность уже проступала в нем и требовала определения своих первых границ. Но возможность для этого появилась только на

корабле, когда Бояркин выучил необходимые инструкции, освоился с обстановкой и стал заступать вахтенным у трапа. Вот тут-то и обнаружилось, что для разбора вовсе не требуется

уйма времени, как думалось раньше. Уже к третьему часу первой вахты тренированное мышление разбросало по полочкам все картины и впечатления, отмело ложное, перетасовав

не только прожитое, но и предполагаемое на будущее. В следующие четыре часа вахты все

это от начала до конца пролетело уже несколько раз, как ускоренная киноплёнка. А после нескольких вахт оказалось возможным всю свою девятнадцатилетнюю жизнь, идущую уже

готовыми, отшлифованными картинками, просматривать в несколько минут. Можно было даже подобрать воспоминание по настроению и, словно нажав на какую-то условную клавишу, остановить и пожить им. Конечно же, всю службу, а особенно последний год, Николай нажимал "клавиши", связанные с домом. Теперь он, как никогда, уверенно знал, что

только в Елкино самое жаркое солнце, самая ласковая земля, самый белый снег, самая зеленая трава и конечно, самый теплый дождь. А дождь... Ох, уж этот дождь... О нем можно

вспоминать бесконечно. Там, в Забайкалье, в детстве он был совсем особенным. ...Когда над сопкой Крутолобой собирались сизые пузатые тучи, на село наваливалось какое-то трудное ожидание. Тяжелое освежающее дыхание приближающегося дождя заполняло все пространство улиц и огородов. Широкие, добрые черемухи в палисадниках не

могли даже шелестеть. Воробьи не чирикали. Люди отрывались от своих дел и смотрели вверх, прикидывая, сколько воды в небесных цистернах. Первые капли – редкие, будто из сита, с тупыми хлопками падали в пыль, печатая черные точки, число которых увеличивалось

мгновенно. Но эти капли были пока еще от самой ядерности туч, от переплескивания их через край. Затем с неожиданным сочным грохотом небо лопалось, и вода уже сплошным гудящим потоком обрушивалась на землю.

Николай и сейчас помнил ощущение скользкого крыльца, когда он в трусах выбежал под дождь, помнил щекочущий холодок скользнувших вдоль хребта струек, заставляющий

остановить дыхание и обхватить себя руками. И теперь еще он ясно видел молодое лицо своей матери, которое в такие минуты было особенно счастливым. Летом, когда дождь был

желанным гостем, она в легком, облипающем платье шла в огород с лопатой и направляла по

бороздам мутные потоки воды. Ее глаза весело смотрели на то, как бодро распрямлялись от спасительной прохлады листья огурцов, помидоров, гороха, моркови, ботва картофеля, особенно ярко начинал зеленеть лук-батун. Петух, с самого начала позорно спрятавшийся под крышу стайки, тоже чему-то радовался и победно кукарекал из укрытия. Николай с добела выгоревшей мокрой головой шлепал по огороду, глубоко проваливаясь в размякшей черной земле.

– Скажи дождю-то, пусть еще припустит, – кричала ему мать, – пусть хоть шелуху-то на твоём носу примочит.

Николай начинал во все горло припевать:

– Дождик, дождик припусти, мы поедem во кусты, бо-огу молиц-ца, царю клониц-ца! У царя была жена, отворяла ворота – ключиком, замочиком, шелковым платочиком... А дождь катился по стриженной голове в глаза, попадал в рот и казался совсем-совсем безвкусным.

– Мокни, мокни, – смеясь, говорила мать, – больше вырастешь...

Воспоминания были словно озарены каким-то светом. Откуда брался этот свет? Не могло его быть в темную, трескучую грозу, и ведь, наверное же, неприятными были тогда холодные струйки, но вспоминалось это светло. Значит, свет был особым эффектом самого

воспоминания. Все живое на земле от света: каждое существо, растение, лист усваивают его и как бы в самих себе образуют маленькие солнца. А у человека от солнечного света образовалось и вовсе удивительное – душа (тут уж солнце достигло вершины своего воплощения). А так как воспоминания и мечты живут в этом солнечном доме – душе, то потому и кажутся освещенными.

В последний год Николай почти каждую ночь видел во сне родителей, сестренку Анютку, бабушку Степаниду, черемуху в палисаднике, собаку Левку, дом с потрескавшимися

бревнами. Приснилось как-то, что с внутренней стороны дома стены тоже не штукатуренные,

а бревенчатые, только побеленные. А в кухне, перегораживая угол, прибит шкаф, похожий на

синий наличник со ставнями. Наяву Бояркин этого не помнил. Написал матери, и она ответила, что такой шкаф и вправду висел у них на кухне, и стены сначала были не штукатуренные, но Николай был еще совсем маленьким, и удивительно, как он это запомнил.

Часто между вахтами, отдыхая в каюте на рундуке, Бояркин включал слабую желтоватую лампочку над головой – совсем как в купейном вагоне, и начинал представлять,

как он идет по улице Елкино. Он специально тормозил память и, действительно, словно шел шаг за шагом, и начинал видеть не замечаемые раньше подробности: заборы, крыши,

трубы,

шероховатый с тупыми углами валун у почты, беленый штакетник Кореневых, земля у которого всегда была вытоптана подковами, резные наличники у Трофимовых, молоденькую

листвянку в палисаднике Крышиных... Так "доходил" он до школы или клуба, на высоком крыльце которого он мог в этот момент по памяти сосчитать ступеньки. В последние два года сквозь радость воспоминаний у него всегда проступала горечь: не было у него теперь дома – родители продали его и переехали в соседний район в какое-то село Ковыльное, о котором Николай никогда не слышал. Целых два месяца после этого молчали родители, а потом написали уже с нового места. Николай получил письмо как раз перед выходом в море. Прочитав, не поверил, и даже новый штемпель "Ковыльное" его не убедил. Вахта, на которую он тут же заступил, оказалась очень напряженной, и думать о постороннем было некогда. Сменившись, Николай добрался до рундука и сразу же заснул (в тот день очень сильно качало), но спал с тревогой и не уютom на душе. Снова приснился дом. Бояркин проснулся. "Исполнилась бабушкина мечта, – думал он, – теперь все ее оставили. Конечно, и на моих она повлияла. Эх, бабушка, бабушка, ведь ты же сама-то никогда не жила в отрыве от всего своего. Неправильно все это... Я приеду в Елкино как гость... И все-таки сначала пройду по улице до своего дома. Около ворот поставлю чемодан и присяду на лавочку. Еще раз кругом осмотрюсь. Соседи удивятся – куда это я приехал, неужели не знаю, что уже не живу здесь? Потом я войду в дом, а там какие-то чужие люди, чужие стулья, ботинки, чужой запах. А может быть, там будет пахнуть и хлебом, но уже не тем, что стряпала мать. Сбиваясь, я начну объяснять новым хозяевам, что я тоже когда-то жил в этом доме и мне хочется посмотреть. Им будет неловко, но они разрешат, и я начну ходить, искать знакомые предметы, мысленно восстанавливая все, как было. И, конечно же, мне покажется, что все новое не подходит дому. Хозяева, может быть, попытаются меня разговорить, но мне будет не до разговоров. Я попрошу разрешения посмотреть в садочке ранетки, которые мы сажали все вместе и которые потом так и назывались: мамина, папина, Анюткина, Колькина. Анюткину ранетку, возможно, выбросят, потому что она переродилась в дикую яблоню, но три остальных разрослись, и как раз должны будут цвести. Я ведь так и не попробовал с ними ни одного яблочка. Потом я пойду к бабушке, и даже после такой разлуки она встретит меня, как ни в чем не бывало. Мы сядем пить чай, я буду, обливаясь потом, пить его как можно больше и говорить, что такого чая на всем Балтийском море нет. Бабушка будет мне много рассказывать о своем житье-бытье, вспоминая со смехом даже несмешное. И будет мне очень рада... Эх, неправильно она поступила, поговорить бы с ней..."

Когда Николай воображал эту новую картину возвращения домой, в каюте стоял гул от двигателей и, как открылась дверь, было не слышно. В самый последний момент Бояркин

заметил свет, упавший из коридора, и быстро отвернулся к переборке.

– Коля, Коля... Бояркин, – притронувшись к плечу, тихо окликнул его дежурный по кораблю.

– Сейчас встану, – сказал Бояркин.

Дежурный мгновение постоял рядом, не понимая, почему радист не оглядывается, и вышел. Николай вытер слезы и глубоко вздохнул. Было уже два часа ночи – время заступать

на очередную вахту – до семи часов утра. Потом с семи до двенадцати отдых, и с двенадцати

до шести – снова вахта. Не так-то легко нести двум человекам круглосуточную радиовахту.

И так будет продолжаться еще девять суток. Потом отдых в базе – и все сначала. Впереди еще

целых два года, состоящих из приказов, вахт, морзянки...

...Теперь же вся служба была позади. Служить оставалось считанные дни. Бояркин стоял, продолжая смотреть на пирс, – было даже удивительно, что совсем скоро он сможет

видеть что-то другое, а не эти корабли, воду, чаек... Потом, конечно же, все это начнет постепенно стираться из памяти, теряться целыми кусками, но это потом, а сейчас, пожалуйста, – вот он, корабль, и на нем можно рассмотреть каждую заклепку.

Когда до подъема осталось две минуты, Николай обнаружил, что дождь прекратился, оставив на пирсе множество светлых луж. Сначала Бояркин наметил сразу после подъема объявить приборку, но теперь отменить зарядку уже не имел права. Для того чтобы

понять, какая форма одежды должна быть на зарядке, он вышел на ходовой мостик. В уши ворвался

гомон чаек, щедрый плеск воды. Воздух был сырым и холодным. Николай заложил руки за

голову и потянулся – самому бы сейчас немного пробежаться. Вернувшись в рубку, он заметил на рукаве голландки несколько капелек. Они были как шарики, но с сукна не скатывались. Николай стал поворачивать их к свету, чтобы рассмотреть получше, но

попутно

скосил взгляд на часы и, увидев минутную стрелку ровно на двенадцати, дал три длинных звонка по кораблю.

– Команде вставать! Команде вставать! – строгим голосом объявил он по корабельной трансляции. – Приготовиться к выходу на физзарядку! Форма одежды – голландка, берет. Он выключил тумблер и услышал, что то же самое заканчивают объявлять на соседних кораблях. Теперь уж все: рабочий день начался, и мысли о постороннем – в сторону. Николай еще с минуту задержался в тихой ходовой рубке, делая необходимые записи в вахтенном журнале. "Каким же я все-таки дураком-то был", – подумал он, сбегая вниз по трапу и снова мимолетно вспомнив про свой особенный, будничнейший день.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

То, что одних воспоминаний да мечтаний для работы головы недостаточно, Бояркин понял очень скоро. Однажды, неся вахту у трапа, он остановил ленту воспоминаний на

Жене

– дурнушке в желтом беретике, снова мысленно побродил с ней по парку, отчего даже слегка

заныло сердце, и принял историческое решение. "Человеческие мозги – как жернова, – так

сформулировал он его. – Мозги перемалывают все, что в них попадет. Но нельзя допускать,

чтобы там перемалывалась пустота, потому что она тоже может стать твоей составляющей. В

голове должно быть все постоянно заполнено и натянуто – слабина недопустима. Ты имеешь

право заниматься каким-либо делом только в том случае, если совершенствуешься в нем. Ты

не имеешь права делать что-либо хуже, чем можешь. Только так ты можешь определиться в

личность".

После вахты он отыскал значение слова "личность" в философском словаре и сначала ничего не понял. Пришлось справиться и о других непонятных словах: "индивид", "социальность", "объект", "психика"... Глубина этих определений потрясла его. Но когда Бояркин, в конце концов, дошел до слова "философия" и обнаружил, что оно расшифровывается как "любовь к мудрости", то его охватил прямо-таки восторг. С этого времени словарь перешел в его шкафчик. Почти целый год Бояркин с его помощью терпеливо штудировал учебник "Основы философии". Со школы он усвоил лишь то, что философия для нормальной головы великовата. Поначалу было трудно, и, подстегивая себя,

он решил, что если отступит, то должен будет на всю свою остальную жизнь официально признать себя безмозглым бараном... Но самообразование оказалось радостным – никогда

еще Николай не ощущал такого обильного притока полезных знаний. Свою методику самообразования он назвал "способом отдиранья", потому что ему приходилось буквально

вырывать каждую мысль из книги, из букв, из слов. При чтении он через строчку, часто через

слово отрывал взгляд от книги и повторял какую-либо мысль, пытаясь вообразить ее принадлежащей уже не книге, а ему самому, пытаясь слить ее уже с известным. Это было очень важным – не откладывать новую мысль в какие-то запасники, а тут же задействовать ее

в свою основную мыслительную работу, и очень часто выходило так, что новые истины разясняли какие-то старые понятия, впечатления, становясь как бы скелетом всего опыта.

Бояркину понравился даже сам процесс этого самообразования, весь секрет которого он сводил к простому – к умению правильно читать. "Плохо нас этому учат в школе, – думал он,

– если бы школа за десять лет научила правильному чтению, то уже одним этим она выполняла бы свое предназначение процентов на пятьдесят".

У товарищей по кораблю штудирование Бояркиным такой "нудной" книги вызывало недоумение. Дальше всех пошел гидроакустик Трунин, широкоплечий, с большой круглой

головой, любивший в свободное время поиграть гириями, – Николая за его занятия он просто

возненавидел. Надорвавшись над этой дисциплиной в индустриальном техникуме, гиревик

Трунин признал себя безнадежно тупым и ополчился не только на эту мудрую науку и

преподавателей, но и на любого, заикнувшегося о философии. Как-то между делом Нико-
лай

почти на пальцах, минуя специальные категории, объяснил Трунину один из философ-
ских

законов. Тот удивился неожиданной простоте и сказал, что все равно это ерунда.

– Зачем тебе это надо? – спрашивал он с подозрением. – Наверное, карьеру хочешь
сделать. Ну, давай, давай – с этим ты далеко прыгнешь.

– Я пытаюсь разобраться в том, что меня окружает, – объяснял Бояркин, – что в этом
особенного? Безразличие к этому куда удивительнее. До армии одна серьезная девочка
сказала мне, что я не личность. Уж не знаю, насколько личность была она сама, но мне
это до

сих пор покоя не дает. Вот я и пытаюсь разобраться в жизни.

– А что в ней разбираться? Жизнь – это большой бардак, – с усмешкой сказал Трунин.

– Ну, я-то так не думаю. Изучение философии как раз и соединяет все куски. Хаосом
мир кажется тому, у кого в собственной голове хаос.

Теперь, когда Бояркин стоял у трапа – неважно, ночью или днем, в дождь или в ветер,
все его мысли походили на пространственные философские монологи: он весь пропитался
философией и, глядя на мир, убеждался, что и мир пропитан ею же. Захватившее его
новое

воззрение привело даже к одному значительному внутреннему открытию.

Нынешней весной, после одного из последних выходов на границу, Бояркин, закрыв
радиовахту, как обычно, некоторое время посидел в радиорубке, с удовольствием слушая
затихание механизмов и приборов по всему кораблю. И в этот раз после морского дежур-
ства

Николай ощущал обволакивающее все тело утомление от качки, очень сильной на их
небольшом корабле, от напряжения длительных радиовахт. Потом он поднялся на ходо-
вой

мостик и, взглянув на берег, ахнул. Пока они были в море, там произошло главное
превращение года – весь берег зеленел. И это при том, что здесь, на длинном пирсе,
тянущемся с суши, оставалась атмосфера зимы с сыростью и с холодом металла. Потом,
шагая по пирсу к этой зелени, Бояркин как будто переходил из одного измерения в дру-

гое, а

пирс служил переходным шлюзом, чтобы глаза, уши, легкие, кожа привыкали и
перестраивались постепенно. Впереди закипало чириканье воробьев, оттуда доносило
запахом влажной земли и листьев. Морской ветер у берега приглушался, и солнце все
теплело. Наконец, Бояркин остановился и с минуту смотрел на кусты, на траву. Потом,
убедившись, что никто его не видит, нырнул за ряд акаций и лег на траву, расправив под
головой полосатый гюйс. Он долго лежал, раскинув руки и до головокружения глубоко
дыша.

Николай словно заново обнаруживал у себя ощущения, а через них и этот мир: зеленый,
звучащий, пахучий, ласково-шероховатый. Глаза его приобретали такую зоркость, что
видели

ворсинки на листьях и каждый листик даже на самых высоких ветках. Бояркин слышал
шуршание муравья, чувствовал спиной прохладу и еле заметную неровность земли. Каж-
дая

мелочь: травинка или камешек – необыкновенно яростно и обнажено свидетельствовали
о

какой-то самой живой, самой реальной реальности всего окружающего и самого Николая.

В

эту удивительную и даже странную минуту все ощущения работали осознанно – ум, сердце и

душа жили с особой силой. Воображение и мышление были легкими, как вздох, и он почувствовал себя слитным со всем сущим. Каждая минута его жизни увиделась частицей

катящегося валом океана времени. Много разнообразных мыслей и мгновенных ярких картин

пронеслось в голове. Он увидел распаханную, парную землю в огороде, себя верхом на вспотевшей лошади, тянущей борону; пятки у него голые, а бока у лошади горячие, упругие

и ребристые. И тут же он увидел себя вместе с Гриней на лугу под дождем. И что-то и еще...

Но тут же почти в единой картине с прошлым он увидел и широкое настоящее. В гудящем потоке видений все мелькало, проносилось: люди – родные и просто знакомые, различные

события, дожди, ветры, перестук вагонных колес, шум воды за бортом, городская пестрота

улиц и все, все, что в эту минуту существовало в мире, и было ему известно. Это был лик мгновения, увиденный как бы на изломе.

Уже в следующую минуту Николай сидел, потряхивая головой, и озадаченно смотрел по сторонам. С ним только что случилось что-то такое, от чего мир стал еще родней и ближе.

"Что же это было за движение? – удивленно подумал он. – Может быть, движение самой материи? Не знаю, но, боже мой, какое, оказывается, счастье, ощущать себя частицей этого

всемогущего движения, какое счастье в осмысленном подчинении ему. Я словно очистился.

Как хорошо, остро, очерчено я себя чувствую теперь. Вот он – я. В эту минуту я осознаю себя, я осознаю, что я живу. Я живу. Я живу-у!"

Николай долго еще потом думал про это странное событие, пока не отнес его к некоему особому поэтическому моменту. К концу службы Бояркин все поэтическое считал

слишком несерьезным, легкомысленным, но этом примере пришел к выводу, что возвышенная сфера неплохо помогает разобраться в самых реальных серьезных делах, понять истинность ценностей.

Состояние, возникшее однажды само собой, он научился потом вызывать намеренно. Для этого он сосредоточивал свои ощущения, пытаясь всесторонне: со звуками, с запахами, с

цветом, даже с ощущениями температуры – осознать реальность одной минуты, Этот момент

Бояркин назвал ОСОЗНАНИЕМ, которое, как он считал, необходимо для чистки души, для

корректировки себя, для инспекторской проверки своей личности. Ничего не поделаешь –

если в тебе появляется личность, то должна появиться и ее гигиена. Бояркин любил читать о таких феноменальных способностях человека, как запоминание громадных текстов, вычисление математических корней быстрее машины,

но, желая развить свое ОСОЗНАНИЕ, он мечтал научиться мыслить так широко, чтобы

удержать в сфере свободного мышления одновременно десятки, сотни различных категорий,

фантазий, картин с запахами, с цветом, со звуками. Более того, научиться ощущать каждую

свою минуту не только средоточием прошедшего и будущего своей жизни, но прошлым и будущим всего человечества, Овладеть бы вообще всеми чертами характера, чувствами, эмоциями, свойственными людям. И ни в коем случае не самоограничиваться, стараясь захребтоваться в каком-то постоянном, определенном образе. Совершенствование-то как раз

и состоит в "расхребетывании". Человек должен быть многомерным – это его нормальное состояние, к которому он обязан стремиться.

Конечно, от таких теоретических размышлений до практики было очень далеко – слишком много внутренней силы потребовалось бы для такого мироощущения. Но мир Бояркина расширялся. Теперь Николай знал способ неограниченного увеличения своей жизни. Для этого вовсе не нужно было нестись в ракете со скоростью света. Жизнь нужно увеличивать наполнением, охватом, надо идти не одной, а как бы несколькими параллельными дорожками – жизнями людей, живущих рядом. Включи их жизни, их личности как бы в сферу своего мироощущения и живи вместе с ними. Вся твоя жизнь – это

прохождение сквозь жизнь других. Твоя жизнь принадлежит и твоим родителям, и любимой,

да и вообще всем людям. Для одного ты проживаешь минуты, которые с ним провел, для другого секунды, пока показываешь, как пройти на такую-то улицу, еще для кого-то доли секунды, когда в толпе он случайно задержал на тебе взгляд. Но точно так же тебе принадлежит жизнь всех. Твое "я" – это то, что хоть раз увидено, что помнится, это все переданное от родителей, от соседей, от всех людей, которых ты тоже хоть на секунду увидел, от людей, о которых слышал хотя бы краем уха. И даже одно знание того, что на земле живет сейчас четыре миллиарда человек, а не два или двадцать – тоже что-то дает твоему "я". Но как идти этими параллельными дорожками? Как проникать в людей?

Николай

обратил внимание на то, как много может сказать о человеке одна его случайная фраза.

Он

любил разговаривать с гидроакустиком Барсуковым, служащим по второму году – тот был

начитанный, умный, рассудительный. Не умел он только отстаивать свои, часто очень правильные, взгляды. Николаю это было непонятно. И вот однажды, рассказывая об офицере,

который не согласился с каким-то его предложением, Барсуков обмолвился: "Что поделаешь,

у взрослых есть привилегия делать все по-своему. ." Реплика прояснила сразу многое.

Оказывается, матрос Барсуков все еще считал себя ребенком. Поразмыслив, Николай сделал

вывод, что человек даже единственным словом говорит о себе и своей жизни все, да и не только словом, но и ноткой в голосе, и взглядом, и положением пальцев, и позой. Человек,

в

этом смысле, не может быть скрытным, да и до того ли ему с его повседневными заботами? В

каждом человеке, как понял Бояркин, существует некий камертон (не всегда, правда,

постоянный), который задает частные мнения, предвзятости, слова. Если прислушаться, то в

общении каждый человек "звучит" по-своему. Значит, надо уметь его слышать, воспринимать. Конечно, сначала, до приобретения опыта, необходим скрупулезный анализ, а

потом анализ должен свернуться в один краткий, как щелчок фотоаппарата, момент. Взглянул

– и чужой человек известен тебе так же, как любой встречный на сельской улице. Пожалуй,

это было бы уже умение почувствовать, а не умение понять. Вот, собственно, вершина самого

полного "овладения" каким-либо человеком – в чувствовании его.

К концу службы Бояркин понял, что ему нужно быть не инспектором уголовного розыска, а просто школьным учителем. В милиции он собирался работать для того, чтобы бороться с такими, как Кверов. Но с ними надо не бороться. Надо сделать так, чтобы они не

появлялись. Кто в Елкино не знал, например, об одном "воспитательном" методе его отца, лесничего Ивана, который несколько раз зимой оставлял Виктора в лесу с одним топором? С

утра до вечера сын должен свалить, раскряжевать и стаскать в кучу несколько кубометров дров. В юности, совпавшей с войной, Ивану пришлось немало повкалывать, и он хотел тем

же методом сделать человека и из сына. Но Ивана заставляла работать сама жизнь, а Виктор

не видел смысла такой работы – дома были и пила и даже бензопила, да и дров всегда хватало. Вот этот-то и еще некоторые фокусы отца озлобили Кверова, извратили в его глазах

самую суть труда, внушили веру в культ силы, которой он вынужденно подчинялся и при помощи которой утверждался потом сам. В этом был смысл его жизни. А Генка Сомов этот

смысл как бы отвергал. Поэтому-то и был он самым ненавистным врагом. "Не нужно ненавидеть людей за плохое в них, – объясняя свой поворот, писал Николай Игорьку и Наташе Крышиным. – Этим ничего не изменишь и не достигнешь. Что же делать? А

только

одно – с самого начала, с детства жить с ними одной жизнью, не давая заболеть недобрым".

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С очередного морского дежурства корабль вернулся утром, застав город еще под белой пеленой тумана. Когда двигатели смолкли, то оказалось, что все говорят громче, чем надо. По

правилу день швартовки был объявлен днем отдыха. Сразу же кто-то из молодых отправился

на базу за почтой, а остальные стали ждать его в столовой у телевизора. Как обычно в такие

дни настроение у всех было приподнятым. Сегодня можно было расслабиться: прочитать письма, просмотреть пачку газет, помыться в душе, а вечером лечь в свежую постель счастливым уже от того, что в эту ночь тебя не поднимут на вахту. Кроме того, сегодня не будет ни качки, ни шума, ни вибрации. Покой – это, оказывается, и есть блаженство.

Корабль

выходил в море через каждые десять суток и через столько же возвращался. И за службу таких радостных возвращений было много. Впрочем, выходы в море тоже были радостными.

Всегда перед выходом на борт приходил комбриг, капитан первого ранга. Он командовал кораблем еще в войну. Команда, выстроившись на баке, стояла перед седым комбригом во

всем рабочем: в синей робе, в беретах, в грубых кирзовых ботинках.

– Приказ номер... – объявлял комбриг хриплым голосом, – приказываю выступить на охрану государственной границы.

Номер приказа сразу же забывался, но все помнили потом, что он существует. По штабным документам и картам вся граница была постоянно закрыта этими пронумерованными приказами, как несрываемыми печатями, за которыми стояли конкретные

корабли с конкретными фамилиями командиров, старшин и матросов. И когда команда после

построения с грохотом разбегалась по боевым постам, то каждый знал, что в пушках сейчас

заряжены не учебные, а настоящие снаряды, а глубинные бомбы на корме действительно могут разорвать врага в клочья, если такой объявится на границе... Каждый человек знал свое

серьезное дело, осознавал насколько оно серьезно, и с этим осознанием испытывал особо весомое мужское радостное ощущение себя. "Ты спрашиваешь, в чем суть моей службы, –

писал однажды Бояркин Игорьку Крышину, – так она не в каких-то подвигах, а в постоянной

неизбежной ответственности. Представь, что уходит в море корабль, что он надолго отрывается от земли и что единственной ниточкой, связывающей его с ней, остается ниточка

связи, за которую отвечаешь ты. Представь это, и ты все поймешь..."

Сегодня еще на подходе корабля к базе начальник штаба вызвал на переговоры командира корабля капитана третьего ранга Осинина и, поздравляя с возвращением, сообщил, что завтра из части демобилизуется очередная группа, а с его корабля – радиотелеграфист Бояркин. Николай сам устраивал переговоры, находящемуся в ходовой

рубке офицеру, и все слышал. Осинин, зная об этом, не стал сообщать дополнительно. Взволнованный, Бояркин хотел было тут же уйти с вахты, вызвав вместо себя младшего радиотелеграфиста, но потом, напротив, стал делать все неторопливо и внимательно, с желанием запомнить каждую мелочь. А когда уже ощутил, что корабль приткнулся к пирсу,

когда услышал, как наверху по палубе загремели ботинки, попросил у береговой радиостанции разрешение на закрытие вахты, расписался во всех журналах, и, помедлив, щелкнул тумблерами. Эфир погас в динамиках, но не быстрее, не медленнее, а так, как обычно. Николай еще некоторое время сидел неподвижно. Хорошо, что ребята пока ничего не знали,

не кричали, не поздравляли и что представилась возможность побыть с этим известием наедине. На корабле гудел уже только один дизель-генератор, но вот и он замолк. Свет погас.

Сейчас электрики протянут кабель и переведут корабль на береговое питание. Теперь уж все.

Это и есть последнее возвращение.

Николай вспомнил, что нужно еще отключить телефонную трубку в ходовой рубке, и поднялся по трапу. Командир корабля приводил в порядок документы – в этот выход было

задержание иностранной шхуны, занимавшейся браконьерским ловом рыбы в территориальных водах. Шхуну осмотрели и по распоряжению штаба отпустили, но в штаб

следовало представить необходимые бумаги.

Подчиненные никогда не называли Осинина по званию. Звали Командиром, потому что так было короче и как казалось, определенной. На корабле вообще все были коротко определенными и как бы с большой буквы: Командир, Штурман, Боцман, Замполит...

Но это

и в малой мере не было обезличенным. Когда Бояркина называли Радистом, то ему казалось,

что на их маленьком корабле это даже точнее имени и фамилии, потому что прямо выражало

его главное значение здесь. Командира между собой моряки называли Колобком, а чаще всего Батей. Он был маленький и быстрый. Особенно злое и решительное выражение придавал ему чуть вздернутый нос, похожий на небрежно прилепленную картошку. Распекал

командир криливо, не давая в ответ сказать ни слова, потому что не отыскивал у провинившегося каких-либо индивидуальных струн, а давил открытым "ломовым" способом.

Вначале с исходного пункта Командир уносился чуть ли не к всемирным масштабам и, обрушив оттуда все, что хоть в какой-то степени соответствовало теме, он еще с полчаса талдычил то же самое, только с другими оборотами. Основная мысль, которую постоянно внушал он во всех чистках, была та, что в жизни вообще, а в морской службе особенно, мелочей не бывает.

– Вахтенный журнал нужно вести тща-тель-нейшим образом, – поучал он радиотелеграфистов, – даже если кто-то пукнул в эфир – тут же запиши и распишись.

Первая проработка Бояркина, на которую он попал почти сразу по прибытии на корабль, продолжалась полтора часа без передыха, потому что Николай не знал еще, что Осинина положено слушать молчком, даже когда он спрашивает. Бояркин же оправдывался,

вставлял словечки, кое-где усмеялся, приводя Осинина в бешенство. В конце концов, Командир все же вынудил подчиненного согласиться по всем пунктам, но Николай невзлюбил его. А потом, почти через полгода, Осинин открылся по-новому. Бояркин

как-то

попросил у механика корабля капитан-лейтенанта Рыжова (вот его почему-то никогда не называли с большой буквы механиком) книгу Джека Лондона, которую тот заканчивал читать. Офицер поправил воротничок и, сделав на лице какое-то холодное, неизвестно

откуда

взявшееся аристократическое выражение, буркнул что-то непонятное. Командир, оказавшийся рядом, сердито усмеялся и, уведя Бояркина к себе, положил перед ним несколько журналов.

– Здесь повесть "Белый Бим Черное Ухо", – сказал он, – лично я прочитал ее три раза.

Раньше у нас не было замполита, и на политзанятиях мы читали этого "Бима" вслух.

Именно

на политзанятиях, потому что я не верю и никогда не верил в лекции, где только "ура!" да

"ура!". А пользу хорошего чтения я знаю с детства, еще с тех пор, как мне самому мать читала о Томе Сойере по несколько страничек в день. Не знаю, остается ли у вас в душе что-

нибудь после теперешних занятий, но у нас на корабле нарушений дисциплины не было и раньше. Возьми почитай... Если хорошо прочитаешь, то обязательно поймешь, как надо любить зверей, природу, жизнь и как можно стать человеком.

Говорили они еще долго. Командир рассказывал и с удовольствием показывал письма от ребят, которые уже давно отслужили, но пишут ему. Рассказывал, что всю жизнь мечтает о

саде, и, уйдя через полтора года на пенсию, купит дачу, займет собаку, станет разводить ягоду, в том числе обязательно облепиху. Командир разрешил Бояркину во время стоянок в

базе брать у вестового ключ от каюты и читать все, что собрано в отдельные подшивки о собаках, кошках, лошадях, редких растениях, целебных травах.

– Ну что, Николай? – сказал командир, взглянув на появившегося в ходовой рубке старшину, – конец твоей службе? Поздравляю...

– Еще двадцать четыре часа, товарищ командир.

– Нет, уже сегодня все. Завтра только формальности – речи, поздравления, грамоты, может быть, значки какие-нибудь памятные... В общем – поздравляю.

Впервые за всю службу Бояркин плескался в душе поспешно. Куда спешил – и сам не понимал. Придя в каюту, еще раз перебрал в чемодане давно приготовленные вещи.

Закрыв

замок-молнию и минут пять сидел, глядя на тусклый матовый плафон, пытаюсь ощутить расслабленность и покой, как бывало после душа, но волнение не унималось. Николай поднялся в столовую и сел перед телевизором. Смотрели концерт. Собрались в основном

все

дембеля: тонкий, курносый корабельный электрик Пермяков, гидроакустик Трунин,

комендор

Решетень, кок Хуторкин. Пермяков и Хуторкин лениво курили, стряхивая пепел в консервную банку.

– И чего это мы все ими восхищаемся, – вдруг удивленно проговорил Пермяков, глядя на певицу в телевизоре, – а у них ведь тоже все обыкновенное. Посмотрите отдельно на глаза, на нос, на уши... Вон на уши...

– Уши как уши, – ответил Трунин, не понимая, что имеет в виду Пермяков.

– Вот я и говорю, что все обыкновенное. Мы их тут вознесли, а у них почти все такое же, как у мужиков, только чуть-чуть не совпадает.

Все покатались со смеху, а смешливый кок Хуторкин даже завизжал и погладил Пермякова по голове.

– Заслужился, бедненький, – ласково сказал он.

– Как, тебе бы такая подошла? – кивнув на телевизор, спросил Трунин у Бояркина.

Николай промолчал. Новость о его демобилизации уже прокатилась по кораблю, и дембеля смотрели на него с завистью, а молодые с грустью.

– А вот интересно, ты, наверное, быстро женишься, – не отставал Трунин.

– Если встретится такая, какая нужна, то хоть на другой день, – серьезно ответил Николай.

– Ну, ты даешь! А какая тебе нужна?

– Умная, наверно. Хотя бы раз в десять поумнее тебя.

– Нет, умная – это плохо, – заметил Пермяков.

Начиналась обычная трепотня, в которую Бояркин ввязался автоматически, думая о

другом. Он поднялся и вышел на палубу.

Туман уже рассеялся, оставив после себя необыкновенную чистоту воздуха, словно обновив его весь. Море под ярким солнцем было густо-синим и на горизонте четкой линией

отсекалось от голубого неба. К концу третьего года службы Бояркину уже хватило мудрости

заметить, что, бывая самым разным, море всегда остается красивым. Этой же красоты оно

требует и от всего принадлежащего ему. На море красивы и многоэтажные лайнеры, и маленькие рыбацкие суденышки, похожие на утюги, у которых и команда-то всего два-три

человека. Эти суденышки, действительно, пашут море, потому что не скользят, а глубоко вспарывают поверхность и тарахтят почти так же, как трактора на пашне. Но не тонут.

Есть в

них какая-то особая, не заметная сразу привлекательность морских трудяг. Море не терпит

некрасивого. Некрасивое просто не должно держаться на воде. Иными словами, красота на

море означает и жизнестойкость и надежность. Это в очень большой степени относится и к

людям на море – морякам.

Привалившись плечом к надстройке, Николай почувствовал ласковую теплоту крашеного, нагретого солнцем металла. Город с высокими шпилями башен казался миражом

в волнистом испарении залива. Над головой бесновались горластые чайки. Часы показывали

только десять часов тридцать пять минут. Николай поднялся на ходовой мостик и, расчехлив

большую морскую трубу, стал смотреть на приблизившийся в тридцать раз город с разноцветьем автомобилей и летних женских платьев. Но и при увеличении все было неясно,

расплывчато. Трудно было представить жизнь людей, имеющих такую неслыханную свободу,

– жизнь, когда по своей воле можно пойти в кино или в парк, можно сидеть дома и сколько

влезет смотреть телевизор. Неужели такая жизнь возможна? После трех лет "хождения по линеечке" свобода казалась даже страшноватой.

Три положенных года Бояркин отслужил полностью и даже с лишком. И теперь, в начале четвертого лета, он уже вне службы. С этой жизнью, в которой был лес штыревых антенн и мачт, бесконечная морская гладь, постоянное покачивание, покончено. Это была

неплохая жизнь. Но если она кончилась, так какого черта тянуть? При чем тут какие-то формальности? Сколько этого ждали! Обычно в море это всеобщее нетерпение проходило

через Бояркина, потому что его радиорубка становилась единственным источником новостей.

Дембеля донимали его просьбами, чтобы он "своими каналами" выведаль у базы – не приехала ли еще смена. Больше всех надоел земляк, радиометрист Петька Тарасов.

Обычно

он тихонько стучался в радиорубку и виновато спрашивал одно и то же:

– Ну, как?

– Никак, – отвечал Бояркин и захлопывал дверь.

Земляков было намечено демобилизовать одновременно, и они строили планы совместного возвращения. Дело оставалось за молодыми. И вот как-то ночью, придя сме-

нить

своего младшего – Гену Чистякова, тоже из сибиряков, Николай услышал в динамике совершенно особенную морзянку.

– Слышишь, как "молотит", как черепаха, – разозлено сказал Гена, – из базы какой-то. Тупой как валенок. Уже полчаса долбит!

Бояркин сел, прислушался.

– Да ведь это же молодой! – вдруг догадался он. – Смена приехала, понимаешь?

Принимай сам до конца. Я пойду, нашим скажу.

– Так они же спят...

– Разбужу! Они и во сне ждут.

И вот на корабль прибыло пополнение, и лично для Бояркина – молодой радиотелеграфист матрос Манин. Для начала Николай дал ему послушать, как здесь работают в эфире, у Манина, как и положено, округлились глаза – так бывало со всеми. Понятно, что учебка есть учебка, а граница – это граница.

– Пользуйся тем, что я пока здесь, – сказал ему Бояркин, – тренируйся, спрашивай, чтобы не учудить потом что-нибудь очень неприятное для себя, а еще хуже и для других. Но Манин больше занимался не морзянкой, а гитарой. До службы он окончил музыкальное училище, в учебке не имел возможности играть, и у него задрожали руки,

когда

на корабле он увидел гитару. Николай приходил в кубрик, отбирал гитару и тащил его в радиорубку учить инструкции и тренироваться. При возможности своей властью осво-

бождал

Манина от корабельных работ. Но и оставлять его одного в радиорубке было нельзя.

Манин

настраивал радиоприемник на музыку и балдел в наушниках. Кончилось тем, что строгий флагманский специалист, отвечающий за связь в бригаде кораблей, проверил подготовку матроса Манина и заключил, что тот еще не готов к самостоятельному несению вахты. Увольнение Бояркина было отсрочено.

Когда Петька Тарасов стоял перед строем, Николай был провожающим. Петька был растерян, но, как всегда, улыбался. Бескозырку он держал в руке, и ленточки воздушно плавали по гладкому металлу палубе. В самом начале службы в бригаде Петька сделал глупость – попытался пронести на корабль бутылку сухого вина. Был как раз день рож-

дения

у Бояркина, и Петька хотел удивить его. Задержал его на КПП штабной офицер и так хорошо

запомнил фамилию, что потом постоянно вычеркивал из списков на повышение звания

и на

поощрения значками. По штату Петька должен был увольняться главным старшиной, а увольнялся старшим матросом, с одним значком специалиста первого класса.

– Ребята... друзья, – сказал он перед строем таким дрогнувшим вдруг голосом, что у всех мурашки пробежали по спине, – страшно почему-то уезжать. Сколько здесь всего оставляешь... Хотя впереди-то еще больше.

Все уставились себе под ноги, а Бояркин, стоявший во второй шеренге, отвернулся и стал смотреть на чаек, которые с гвалтом пытались подхватить что-то с воды.

...И вот теперь, когда Петька был уже дома, когда на него уже не распространялись военные законы, тут приходится ждать еще каких-то формальностей.

Николай пошел к командиру, который уже спустился к себе в каюту.

– Товарищ командир, я пойду в штаб и отпрошусь, – сказал Бояркин, хотя по уставу требовалось обратиться иначе, но Командир понял его.

– Хочешь уехать сегодня? – спросил он. – Хорошо, иди. Только, наверное, не выйдет.

Но все прошло гладко. В части шла демобилизация, и все, кто должен был оформлять документы, сидели на местах. После обеда все закончилось. Бояркин имел право уехать

не

завтра утром, а сегодня вечером – это было громадной разницей, потому что ночь он

бы не

пережил. Когда Николай вернулся на борт, команда пообедала и снова расселась у телевизора. Входя, Бояркин сделал серьезное выражение и столкнулся с молодым комендором из пополнения, который сегодня дежурил на камбузе.

– Товарищ старшина, – сказал матрос, – вам обед в кастрюльке оставили.

Рот у Бояркина предательски растянулся, усы растопорщились.

– Все! – объявил он и потряс билетом.

Военный билет со штампом "демобилизован" пошел по рукам. Николая

поздравляли, хлопали по спине, тыкали в бока. Он забрал билет и пошел к командиру.

Тот

сразу же звонком вызвал дежурного по кораблю и приказал через пять минут объявить

общее

построение.

У себя в каюте Бояркин быстро переоделся в парадную, давно приготовленную форму с надраенной бляхой, со значками на голландке. Подхватив чемодан, он оглянулся от двери.

Старшинская каюта была маленькой, четырехместной, со столиком посередине, со встроенными шкафчиками. На своем рундуке Николай увидел брошенные плечики, на которых только что висела форма. Поставив чемодан, он повесил их в пустой шкафчик.

Из

каюты, которая была на уровне ватерлинии, не было видно ничего, но к пирсу шварто-

вался

еще один сторожевик, который толкнул своей волной, казалось бы, уже незыблемо стоящий

корабль, и плечики закачались. Николай невольно остановил этот маятник. В это время объявили построение и он, захлопнув каюту, заспешил на бак, где дежурный из вновь произведенных в старшины с еще неестественной строгостью наблюдал, как выравнива-

ется

шеренга.

– Товарищи, сегодня, по окончании срока службы, от нас уходит радист – старшина первой статьи, радиотелеграфист первого класса, коммунист Бояркин Николай Алексе-

евич, –

сказал командир. – Долг перед Родиной он выполнил честно!

В таких случаях командир был краток. В задумчивости он прошелся перед строем, но команда следила не за ним. Все смотрели на Бояркина.

– Ровняйся! Смирно! – скомандовал вдруг Осинин.

Все привычно, но с недоумением вытянулись.

– Старшина первой статьи Бояркин! – взяв под козырек, сказал командир. – От имени

командования кораблем объявляю вам благодарность за бдительную, добросовестную службу

по охране государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!

– Служу Советскому Союзу!

Как-то одновременно строго, по-мужски и теперь уж как бы неуместно, но от этого особенно трогательно прозвучало это "служу".

– Спасибо, Николай, – добавил командир, пожав руку.

Эта последняя благодарность уже не будет занесена в личное дело. Но она-то, конечно, и была самой главной. В строю заморгали и потупились. Бояркину удивительно было видеть блеск в глазах товарищей. Сам он не волновался. Ни эта церемония, ни ожидающий чемодан не могли убедить его в том, что он больше не вернется к этой жизни, что через какие-то минуты перестанет видеть знакомые лица, бескозырки, тельняшки, не будет слышать крика чаек и плеска воды. Слегка покачивало море, и все это было слиш-

ком

постоянным и реальным, чтобы могло окончиться.

Бояркину дали слово, и он не мог сообразить, что сказать. И Петька и все остальные, кто уже уехал, сказали все.

– Знаете, ребята, я никогда вас не забуду, – тихо проговорил Николай.

Командир распустил строй, и Бояркина обступили. Вот они – все знакомые, свои и все прощаются, быть может, навсегда. Кто приобнял, кто пожал руку. На трапе Николай

kozyрнул

кормовому зеленому флагу и зашагал по каменному пирсу. Он знал, что сейчас из мощного

колокола на мачте должна загреметь "Славянка", записанная для таких случаев два раза подряд, Теперь Бояркин боялся ее, потому что даже когда уходили другие, она вызывала дрожь. Но сначала, начиная с низких тонов, воздух разодрал, нарастающий плавными приливами, вой сирены. Сильный звук полетел в сторону города, и егохватило еще и

на то,

чтобы эхом вернуться назад. А из этого воя с сильных долей начала проступать музыка.

Были

в ней и низкие басовые тона и высокие звуки, отвечающие самой нежной грусти. Музыка эта,

казалось, специально была создана для уходящих со службы, потому что в ней, как в красивой заключительной формуле, умещалась вся военная жизнь со всеми ее полюсами,

со

всеми нюансами, со всем, что оставило отпечаток в душе. Кто не прощался, не уезжал оттуда,

где много пережито, кому не играли "Прощание славянки", тот не может понять, как значителен бывает этот марш. Каждой обыденной мелочи он придает необыкновенную близость и одновременно подтверждает правильность каждого твоего шага. Душа разрывается от этого противоречия. Наверное, каждый мужчина должен хоть однажды испытать этот грустный и торжественный уход.

За уходившим следили и с других кораблей. Всем он был понятен, хотя всем казалось невероятным – просто так взять и уйти из их такой размеренной, основательной жизни. Бояркин оглянулся, и со своего корабля ему замахали бескозырками. Правильно ли все это происходит? Николай даже засомневался во всем. Чемодан нес матрос Манин. Бояр-

кину

хотелось пройти одному, но Манин, ошарашенный уходом своего шефа, стал вдруг непослушным и капризным, как ребенок.

В конце пирса, у поворота, за которым море должно было скрыться, Николай сел на теплую железобетонную плиту. По бортовому номеру отыскал свой корабль. Хотелось запомнить его весь: антенны, надстройку, пушки и торпедные аппараты. Несмотря на присевшего рядом Манина, Бояркин словно вышел из зоны провожания, которая кончилась

там, где смолкла музыка, и чувствовал себя уже освобожденным от всего. Сейчас на корабле

так же, как после ухода других, понемногу успокоятся и, уткнувшись в телевизор, обо всем

забудут. Да и как иначе? Так и должно быть. Сегодня у них отдых, а завтра – ремонты, политзанятия и все, что положено.

Манин вдруг тяжело задышал и захлюпал носом.

– Как же я-то, – пробормотал он, – я же не смогу работать.

– Ну, хватит! Иди к черту! – оборвал его Николай, вставая. – Еще мне же и жалуешься. Многие советовали морду тебе начистить. Твое счастье, что я слишком добрый. Но хоть теперь-то ты будь мужиком! Пойми ты, в конце концов, хоть что-нибудь на этом свете.

Тебе

сколько? Тебе ведь уже девятнадцать лет!

Бояркин миновал продовольственные склады, миновал волейбольные площадки, окруженные тополями, где иногда играли с ротой обслуживания, но выиграли всего однажды,

потому что тренироваться было некогда. Миновал крупнопанельное здание штаба, по привычке опасаясь встречи со строгим комбригом и, с улыбкой козырнув караульному, вышел

за ворота части. Прошел немного и оглянулся. Хотелось запомнить и ворота. Они были жестяные, с намалеванными черными якорями, но за ними все было настоящим – теперь уж

он знал. Знал и то, что пройдут потом годы, но память всегда будет вызывать из той жизни какой-нибудь случай, мысль, ощущение. А ночами совсем беспричинно будут приходить корабли, товарищи, бегущие волны...

Улица прибалтийского города показалась в этот раз особенно тесной. Должно быть, в человеке существуют семена тысячи ощущений, и в том числе ощущение простора, возникающее в том случае, если человек живет в условиях, где его взгляд ничем не ограничен. Но если он живет в этих условиях долго, то ощущение может перерасти в потребность личности. Взгляд Бояркина, привыкший к шире моря, упирался в дома, в башни, в деревья. "Наверное, я подрост", – подумал Николай. Слово "рост" было для него словом-символом.

У отца был брат Михаил, который жил на окраине Елкино. Дядя Миша был хмурым и немного желчным человеком. В восемнадцать лет он пошел на войну и вернулся с четырьмя

орденами и тремя ранениями. Однажды, еще учась в школе, Николай рассматривал его награды, документы и заинтересовался медицинской карточкой, заполненной в сорок первом

году, после первого ранения. В графе "рост" стояло "170 сантиметров", но дядя Миша был

одного роста с племянником, а значит, на пять сантиметров выше.

– Нет, тут все правильно – он, – таким я и был, а уж потом, на войне, вытянулся,

подросток. Но это пустяки в сравнении с тем, насколько тогда я, сопливый пацан, подросток в душе.

Тут сантиметрами не измеришь.
Этот разговор Николай вспомнил и переосмыслил лишь на службе в письмах к Игорьку Крышину. "Человек подрастает на события, – написал он, – на дождь, на любовь, на смерть товарища, на ненависть. Все это и есть истинный человеческий рост".
"Кажется, я подрос, – подумал Николай, шагая с чемоданом в руке, глядя на небо в узкой улочке и глубоко дыша, – как я ощущаю свою жизнь! Я буду жить, какие бы препятствия ни поднимались передо мной! Двигаться, действовать. Жить! Жит! Жить..."

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

...И вот он, поезд, и дальняя дорога. Позади осталось серьезное дело, которым можно было гордиться. Николай чувствовал себя своим в этой жизни, потому что повидал штормы, ставящие лежащего то на ноги, то на голову, он провел в кубышке радиорубки столько времени, что если сложить все часы, то получится около полугода непрерывной радиовахты.

Вечером, поглядывая из окна вагона, Николай не мог поверить, что еще сегодня утром он пришел с моря и закрыл свою последнюю радиовахту. За службу он привык к однообразной одежде, к тому, что все люди вокруг него были примерно одного возраста и что

все они были мужчинами. Гражданские люди в вагоне с новой силой поразили его своим разнообразием. Все женщины казались красивыми уже только потому, что были женщинами.

Они излучали какую-то непонятную, подавляющую власть, которая содержалась даже в самом слове "женщина". Это их излучение туманило голову.

Проводницей в вагоне была крупная, ласковая женщина. Когда она проходила мимо, шею Бояркина само собой выкручивало оглянуться.

Этот поезд шел до Москвы, где Николаю нужно было сделать пересадку. Поздно вечером Бояркин, сам не соображая, что с ним происходит, чувствуя лишь, как падает его сердце, пошел в купе проводницы и, остановившись в дверях, так долго нес всякую ерунду,

что она его поняла.

– Что же, все пассажиры в Москве выйдут? – спросил ее Николай каким-то неузнаваемым голосом.

– Все, – ответила она.

– И вагон будет пустой?

– Пустой.

– А что будете делать вы?

– Сначала отосплюсь. Я ведь в рейсе одна. А потом буду прибираться в вагоне. А вечером уж обратно.

– Значит, все пассажиры уйдут, – сказал Бояркин. – А можно я останусь?

Она потупилась и отрицательно покачала головой.

– Ага, извините, – прошептал Николай и, сгорая от стыда, пошел на место.

Но утром в Москве он не вышел из вагона. Проводница, провожая пассажиров, заметила это и, защелкнув дверь, пошла проверить. Бояркин сидел без ботинок, навалившись

спиной на стенку. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Бояркина уже и без

того трясло от волнения. Он видел ее полные, неяркие губы, мягкий подбородок, мелкие

морщинки у глаз. Ей было около тридцати или чуть больше. В эту минуту Николай забыл себя. Не было у него никакого возвышенного предназначения, ни страшной тоски по дому...

– Ну, так что, морячок? – спросила проводница, присаживаясь напротив.

– Так ведь все понятно, – с неожиданной хрипотцой сказал Бояркин – голос прикипел в горячем горле. На всякий случай он пытался казаться бывалым.

Она с еле заметной усмешкой взглянула на него, вздохнула, хотела встать, но Николай, не давая отчета своим действиям, притянул ее за руку и вдруг как попало прижал всю дуря

от незнакомой, но сразу понятной близости. Она стала вырываться с таким остервенением,

что Бояркин испугался и разжал руки. Проводница не убежала, как он ожидал, не подняла

тревогу, а стояла тут же, переводя дыхание. Она почувствовала силу его рук, почувствовала,

что он, все-таки подчинившись, отпустил сам, и в ней что-то переломилось.

– Ты смотри-ка какой! – не то с осуждением, не то с удивлением произнесла она. –

Жарко сегодня. Попить бы чего. Сходи-ка, купи банку какого-нибудь сока.

– Может быть, вина?

Она невольно улыбнулась.

– Нет, лучше сока. Только хорошего.

– А ты не обманешь?

– О, господи, ну ты уж какой-то даже слишком прямой. Иди, говорю.

Николай пошел и вернулся с банкой светлого яблочного сока.

Потом под вечер, когда он уходил уже с чемоданом, проводница, которую звали Нина, вышла за ним в тамбур.

– Я рада, что была у тебя первой, – сказала Нина, глядя теплыми глазами. – Оставайся таким же внимательным и добрым. Не знаю, как насчет прямоты, но доброту свою береги. Она обняла его, но Николая уже не удивило, что его обнимает женщина, – теперь он был самостоятельным взрослым мужчиной. Оказывается, все было не таким, как представлялось после разговоров на корабле или как при разглядывании открыток на квартире самодеятельного актера Косицына. Здесь не было ни грязи, ни лжи, ни унижения.

– Спасибо тебе, – сказал он.

– Ух, какой ты вежливый, – ответила Нина, засмеявшись и шутливо потрепав его по голове, – как ты вчера сказал "ага, извините". Ну, иди... Счастливо тебе доехать. Пусть в твоей жизни все сбывается, хоть не сразу, но сбывается. Я почему-то отношусь сейчас к тебе,

как к взрослому сыну. Нет, дело тут не в возрасте. Просто возникает хорошее чувство. Наверное, тебе это не очень понятно?

– Непонятно, – сознался Николай. – Может быть, потом когда-нибудь пойму.

Уходя, Николай чувствовал, что все тело его звенело струной, и в нем ощущалась такая радостная опустошенность, словно сами кости превратились в тонкостенные стальные

трубки. Даже чемодан теперь не тянул, а просто как бы испытывал на прочность его руку и

плечи. Эта его полыхнувшая, примитивная, еще не украшенная чувствами страсть была настолько естественной и здоровой, что юношеское строгое целомудрие не нашлось, как среагировать, – Николай был счастлив, и все! Пожалуй, впервые за четыре года Бояркин

почувствовал, что в душе лопнула какая-то плотина, и он наконец-то смог быть открытым полностью, хотя не знал, насколько был понимаем. Вначале он не был ни внимательным, ни добрым, за что сейчас в тамбуре получил похвалу. Это сама Нина заставила стать таким. И быть таким оказалось так прекрасно. От своей первой женщины Бояркин уходил с глубоким убеждением, что самым настоящим, полным другом может быть только женщина.

* * *

Все три года дорога домой представлялась коридором из незнакомых станций, поселков, городов, речек, полей. Коридор будет тянуться в полстраны, а день и ночь за это время сменятся несколько раз. Потом будет маленькая, обыкновенная станция. Потом на остановке со скамейкой, изрезанной перочинными ножами, нужно будет сесть на автобус, и дальше пойдут знакомые холмы, пригорки, березняки, овраги. Потом вынырнет из тальника Шунда и потянется с левой стороны, провожая через села, названия которых всплывут в памяти как бы сами собой. Наконец, Шунда незаметно отойдет на другой край долины, но это уже будет Шуругун – елкинское место, куда обычно ездят по грибы. Последний поворот – и весь длинный путь, начавшийся с Балтики, окончится пространством, занятым селом в несколько улиц в окружении лысых гор. Но уже за первой цепочкой гор, имеющих имена, будут другие, уже синие горы, знакомые просто "в лицо" и всегда виденные только издали.

Невелико то, до боли знакомое пространство, но именно там все пропитано особым смыслом, именно туда просится сама душа.

Все так потом и было, но только с поезда Бояркин сошел на другой маленькой станции и поехал совсем к другому селу. За окном простирались гладко вздымающиеся желтовато-

зеленые степи, и гигантские ковры ярко-зеленых полей, словно бы расчесанных большой гребенкой, оттого, что всходы прорастали волнистыми рядами. Елкинские места были другими, и Бояркин удивлялся тому Забайкалью, которого, оказывается, не знал.

Бояркин возвращался из такой дали, в которой он за все время службы даже название своего областного центра слышал по всесоюзному радио лишь несколько раз. Экипаж небольшого корабля, на котором он служил, был составлен в основном из ребят, призванных

из европейской части, а родина сибиряка Петьки Тарасова, считавшегося земляком, отстояла

от его Елкино чуть ли не на две тысячи километров. И вот теперь после длительной жизни в

кругу людей, для которых даже само слово "Забайкалье" звучало чуть ли не новостью, Николай должен был встретиться с самыми близкими, родными по крови людьми, которых в

общей сложности он не видел уже четыре года.

В автобус набивалась пыль, а за автобусом она поднималась клубами и ручейками сыпалась по заднему, чуть выпуклому стеклу. До Ковыльного было далеко. По дороге

встретилось несколько маленьких сел. Они показались неудобными, потому что стояли на плоском месте, без речек и без деревьев. Должно быть эти "голые" открытые, как на сковородке, села летом безжалостно прожаривает зноем, а зимой морозом. Через несколько

часов пути впереди открылась заросшая кустами долина реки – это был Онон – тот самый Онон, который в детстве считался недосягаемым и почти сказочным, потому что, по слухам,

там водились большие рыбыны – осетры. Николай знал, что в Онон впадает его Шунда и, тут

же сориентировавшись, определил, в какой примерно стороне находится Елкино.

Ковыльное, открывшееся за поворотом, вначале даже радостно удивило – белели дома из белого кирпича, улицы были широкие, зеленые, но когда поехали по селу, Бояркин, снова

невольно вспомнив Елкино, нашел в Ковыльном все слишком упрощенным – большинство

домов были одинаковыми, а почти вся зелень – тополя. Это село возникло, казалось, по чьему-то указанию, а не по свободному желанию медленно, но прочно обживающихся людей.

На остановке Николай спросил, где живут Бояркины. Его не сразу поняли. Пришлось объяснить, что эти Бояркины прикочевали сюда два года назад, что должны работать там-то и

там-то. Николая направили в один из белых домов, видимых с остановки, и даже подсказали,

с какой стороны входить – его родителей тут уже хорошо знали, но только не ожидали, что у

них есть такой взрослый сын. Николай пошел, поглядывая кругом. Встречные смотрели на

него с любопытством.

За низким беленым штaketником ограды он еще издали увидел кобеля Левку. Собака, звякнув цепью, поднялась, нехотя твякнула и вдруг приветливо замахала свалывшимся хвостом. Николай открыл воротца и, бросив чемодан на крыльцо, присел перед собакой.

Его

до слез взволновало то, что в этом чужом месте вдруг обнаружилась своя собака, узнавшая

его даже в военной форме. Бояркина поразило еще и то, что Левка был дряхлым от старости.

Почти щенком брал его Николай с собой в лес, вместе с ним купался и орал, когда тот сильно

царапался в воде. Не было все-таки время его службы быстротечным.

На крыльце скрипнула дверь. Николай оглянулся и увидел Анютку – совсем уже взрослую. Она на мгновение замерла, быстро взглянула на чемодан и, метнувшись назад, крикнула в избу:

– Колька приехал!

Через секунду Бояркин оказался в кругу родных, которые целовали и обнимали его.

Был полдень, и все сошлись домой на обед. Родители сильно поседели.

Анютка, закончившая восьмой класс, уже переросла мать. Отец старался казаться сдержанным и грубоватым. Ему сразу же захотелось выпить. Но сначала сели пить чай и почти не разговаривали, а только смотрели друг на друга.

– Поедем со мной, – сказал отец после чая, – сначала завернем на ферму – я

предупрежу, что меня не будет на вечерней дойке, а потом на отару к Михаилу.

– В Елкино? – вырвалось у Николая.

– Да нет – Михаил-то ведь тоже сюда перебрался. Барашков пасет. В его отаре наша барануха. У нас тут частных овец можно в совхозных отарах держать, только заплатить в сельсовете. Не то, что было в Елкино.

– А как же дядя Миша-то здесь очутился?

– Да как... Ты же знаешь, какой он резкий. Выступил на собрании против всего колхоза, а потом со зла заявление написал.

Поехали они на "Жигулях", купленных отцом полтора года назад. На ровной полевой дороге отец, хвалясь машиной, выжал газ так, что сзади все заволокло пылью. В открытое окно порывами врывается упругий ветер. Отец включил радиоприемник – там звучал плавный, задумчивый вальс. На душе Николая было и радостно и в то же время грустно

– вот

он и вернулся... Вернулся, называется...

– Какие тут поля-то, простор, – угадывая его мысли, говорил Бояркин-старший. – Это не в Елкино – там да там клочками по склонам...

Николай его не понимал и не хотел понимать.

У самой отары машину встретили две большие лохматые собаки и не давали высунуться из кабины, пока их не разогнал спрыгнувший с коня Михаил. От солнца и

ветра

его лицо с глубокими морщинами стало черным. Даже на вольном ветерке от него пахло овечьей шерстью, конским потом и дымом. Обрадовавшись племяннику, он начал было расспрашивать о службе, о корабле – дядю Мишу всегда интересовало все, касающееся службы и войны. Он и читал-то лишь военные мемуары, убежденно заявляя, что все остальное болтовня. Но разговора не вышло: лающие собаки не давали сказать ни слова. Сначала Михаил прикрикивал на них, но потом разозлено, но все-таки и с гордостью за

таких

злых собак сплюнул и перешел к делу.

– Как же мы теперь твою баранушку найдем, – сказал он брату, кивнув на отару, рассыпавшуюся по пологому склону, – не будешь же их сейчас в раскол загонять. Давай скомим прямо на месте – и лови любую. Втроем-то поймаем.

Но от Николая было мало толку. Он только помогал "комить", то есть так плотно сгонять отару с разных сторон, чтобы овцы не сразу успевали разбежаться. Николай мог

бы

поймать, но ему не хотелось, чтобы зарезали овцу, пойманную именно им. Первым пой-

мал

Михаил. Овца дергала ногой, сотрясая руку, зажавшую ее, но Михаил дернул порезче,

и овца

упала. Отец, недовольный не проворством сына, пошел к машине. Михаил, сидя на овце, вытер рукавом вспотевший лоб, закурил, посмотрел шерсть, раздвинув ее пальцами, и

начал

связывать ноги. У овцы высоко вздымались бока. Она бляла, повернув голову в сторону отары. Некоторые овцы, принявшиеся снова щипать траву, равнодушно ответили ей.

– Эх, жалко, что я сегодня на смене, – сказал Михаил. – Выпил бы с вами, да и овца жирная попала.

Возвращаясь, молчали. Отец два раза останавливал машину и посылал Николая проверить, не случилось ли чего с овцой в багажнике. Николай открывал багажник, овца поднимала голову и смиренно смотрела из-под крышки. Дома отец положил ее на пыль-

ный

земляной пол гаража и ушел, оставив в темноте за плотными дверями. Резать ее было решено

позже, когда будет меньше мух, а пока отец и сын стали с разговорами осматривать хозяйство. Назначенное время приближалось, и отец, предвидя выпивку со свежим мясом,

все больше оживлялся.

Под вечер Николай еще раз зашел в гараж посмотреть на овцу. Она лежала в прежнем положении. Николай, ухватясь за шерсть, поднял ей голову и тут же бросил, увидев большие,

все такие же тихие и смиренные глаза.

– Ну, пойдем, – встретив на крыльце, сказал ему отец, протягивая нож, только что поправленный на оселке.

– Иди, я сейчас, – отвернувшись, проговорил Николай.

– Ты что же, боишься, что ли?

– Не боюсь. Просто неприятно, Ну ладно, пошли...

Отец прямо в гараже забросил овцу на высокий ящик, склонился с ножом над головой – там сразу что-то мягко, влажно хрустнуло. Отцова нога пододвинула кастрюлю на земле, и

в нее, забрызгивая белые стенки, побежал темно-красный ручей. Овца и теперь лежала тихо.

– Иди помогай. Приучайся, – сказал отец.

Подражая ему, Николай надрезал коленный сустав и с хрустом отломил ногу. Сустав был чистым и скользким. С другой ногой не вышло, и отец помог. Потом стали раздвигать

тушу.

– Может быть, ты и вправду боишься? – переспросил отец.

– Да нет же. Только ведь это совсем безобидное существо. Она не может надеяться ни на что. Уж хоть бы защищалась как-то...

Отец в это время уже снимал шкуру, ловко отделяя ее от туши сжатыми кулаками. На мгновение он замедлился и покачал головой.

– Вот солдат, так солдат... – проговорил он и кивнул на Левку, который, положив голову на лапы, наблюдал за ними так, словно во всем происходящем понимал больше, чем

люди. – Тоже мученик. Совсем старик уже, ест-то уж кое-как, да и оглох... Укол надо поставить, чтобы зря не мучился.

Вечером пришли соседи. Все гости были незнакомы. Николай перезнакомился с ними, а через пять минут без сожаления, как что-то совершенно лишнее, забыл все имена.

Водку

закусывали тушеной картошкой, квашеной капустой, солеными огурцами и свежей бараниной. Вначале непринужденно чувствовал себя только отец – любитель побалагурить.

Остальные не могли разговориться до тех пор, пока не выпили.

Чем больше пьянел отец, тем чаще у него мелькало: "я", "мое", "моя". В детстве

Николая это очень раздражало, потому что отец говорил "сделал я" даже о том, что они сделали вместе. Теперь же Николай был снисходителен к его очевидной слабости. Это снисхождение окатывало душу ностальгическим теплом и походило даже на любовь.

Неловкости за отца перед чужими людьми Николай не чувствовал – что они могли пони-

мать

в его отце?

– Директор говорит, что если бы нам еще одного такого завфермой, как Бояркин, то весь совхоз можно было бы перевернуть, – заявил, наконец, Алексей.

– Да он пошутил, директор-то, – отмахиваясь, сказал лысоватый добродушный сосед.

– Почему же пошутил? Думаешь, я ничего не стою? Вот сейчас меня на дойке нет – и надой снизится.

– А ты при чем? Тебя же самого не доят.

– Как это при чем? – горячо возмутился Алексей, не слыша смеха вокруг. – Если у меня есть рабочее место, значит, я должен на нем находиться. А если не нахожусь, то там должно меня не хватать...

Николай выбрался из-за стола и пошел в кухню. Ему хотелось спокойно поговорить с матерью. Но матери, хоть Анютка ей и помогала, было некогда – на стол требовалось то одно,

то другое. Бояркин, уставший за дорогу, с трудом дождался, когда гости разойдутся, лег на

веранде и тут же отключился.

Поднялся он поздно и вспомнил разговор, слышанный сквозь сон рано утром, когда мать загремела подойником. Какая-то женщина жаловалась отцу, что вечером на ферме много

недодоили.

– Почему? – хрипло спросил отец.

– Да что же ты их не знаешь? Ушли и все побросали.

– Ладно, сейчас приеду.

Этот эпизод обрадовал Николая – в отцовском "я" было все же не только пустое бахвальство.

Было еще очень рано – в воздухе чувствовалась свежесть. Николай привык к свежести камня, воды и металла, но здесь он почувствовал и вспомнил утреннюю свежесть старого потрескавшегося дерева, плодородной земли, всего зеленого, влажного мира. Коровы на улице мычали глухо, и Николай не открывая глаз, догадался, что в селе туман. Туман здесь не

молочно-белый, как на море, а прозрачный и легкий, клубящийся от реки, каким видел его

Николай в детстве, уходя ранним-рано с матерью за брусникой. Подняться бы, полюбоваться

им, но сон оказался слаще, да и куда спешить – насмотрится еще. Повернувшись к стене, Николай глубоко, счастливо вздохнул и подтянул одеяло – хорошо было спать, как и положено, ночью, спать сколько захочешь, не бояться, что тебя тронут за плечо и скажут:

"На

вахту".

Мать работала на почте, и на день ее отпустили. Когда сын в одних брюках с широким черным ремнем и блестящей бляхой сел за стол на веранде, она налила ему утреннего, уже

остывшего молока. Клеенка на столе была теплая, голую спину прижигало раскаляющимся

солнцем, и Николай, сидел, жмурясь от удовольствия.

На мотоцикле подъехал отец. Ему надо было опохмелиться, и он стал ласково заговаривать с матерью.

– Ой, ну и трепло же ты, – высказывала мать, пользуясь возможностью, – чего городил-то вчера-а! Я чуть со стыда не сгорела.

– Да ладно, Маша, никто ничего не помнит. Все подпили. Я же знаю, когда что

говорить.

Николай с улыбкой слушал их беззлбное переругивание. Отец все же добился своего и, выпив стопку, освобождено крякнул. Мать вдруг рассмеялась, увидев на усах сына полоску

от молока.

– Сбрил бы усы, а то слишком взрослым кажешься, – попросила она.

– Мне бы в Елкино съездить, хоть на бабушку посмотреть, – сказал Николай.

Родители переглянулись. Отец досадливо сморщился.

– Мы тебе не сообщили, – тихо сказала мать, опускаясь на стул, – но бабушка уже месяца полтора как уехала к Георгию на Байкал.

Николай сидел не двигаясь, застигнутый врасплох этой последней новостью.

– Вот так-так, – проговорил он. – Что же, теперь в Елкино у нас никого!

– Да, теперь уж никого...

– Почему же вы мне не написали? Я бы по пути на Байкале остановился.

– Так уж вышло, – сказала мать. – Она недавно уехала. Мы думали, что ты и сам уже в дороге.

– Ну, в общем, мне в Елкино все равно надо съездить...

– Свози его, Алексей, – попросила мать.

– Так ведь на ферме-то... – заговорил было отец.

– Да я и на автобусе съезжу, – сказал Николай.

– Ну, знаешь ли! – вдруг возмутился отец. – Зачем же я тогда покупал эту коробушку. Свою. К обеду подойду, и поедем.

После завтрака Бояркин надел гражданские брюки, приготовленные еще на службе, и рубашку с короткими рукавами, купленную матерью. Ему понравилась легкость новой одежды, но, взглянув в зеркало, он обнаружил, что в гражданском выглядит непривычно

и

даже как бы нелепо. Солидные старшинские усы не подходили к светлой рубашке с легкомысленным узором. Николай решил уменьшить усы, стал ровнять и ровнял их до

тех

пор, пока не испортил и не сбрил совсем.

– Вот теперь другое дело, – с улыбкой одобрила мать.

– Я по улице пройду, – сказал Николай, – на ваше Ковыльное посмотрю. В магазин загляну.

– А что же форму снял?

– Меня все равно здесь никто не знает... Кому интересно.

Мать грустно покачала головой и промолчала.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда после обеда поехали в Елкино, Николай переоделся. Анютка тоже увязалась с ними и прямо-таки взмолилась, чтобы брат был в форме, хотя на этот раз его не надо было

уговаривать. Отец купил себе на дорогу бутылку водки. Распечатал ее на пароме через Онон,

чтобы заодно угостить паромщика – старика с серебристой щетиной на коричневом лице. Старик обрадовался угощению, и пока паром шел по воде, они с отцом о чем-то говорили

и

смеялись, зажевывая выпитое кусочками черствого хлеба. Николай стоял, навалившись

на

перила, и смотрел на чистую и, должно быть, теплую ласковую воду, на берега с бахромой свисающего тальника. "В каком все-таки прекрасном мире мы живем", – подумал он.

Сразу от парома машина круто пошла вверх, а потом более полого вниз – дорога здесь была ровнее, чем на той стороне Онона, но с крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Река очень резко отделяла степные холмы от больших, кое-где довольно круто и высоко вздымающихся гор. Николай повеселел – в этих, пока еще незнакомых видах начало угадываться что-то Елкинское. Вопреки планам, к дому он подъезжал с противоположной

стороны от райцентра, но к дому хороша любая дорога, и чем ближе становилось село, тем

больше волновался Бояркин. В волнении не было, однако, нетерпения; радостно было видеть

и знакомые окрестности села. Когда до Елкино оставалось километра три, дорога пошла под

высокой, почти вертикальной скалой, и Николай пригнулся, чтобы увидеть из машины стремительных стрижей, гнездящихся здесь. Однажды он взбирался на самую ее вершину.

Кустики внизу казались оттуда маленькими, стрижи носились под ногами, и сердце каменило

от мысли, что можно сорваться. Снизу же скала, особенно когда над ней плыли облака, казалась падающей. К этому мосту с другой стороны дороги подходила крутым изгибом чистая и холодная речка Талангуй. Здесь была ее главная темная глубина, в которой

ловили

тайменей, и купались, но без визга и без смеха. Однажды в этой яме утонул запряженный в

телегу конь, которого объезжал конюх Золотухин. Тогда поговаривали, будто и сам конюх едва не утонул, но это скорее для того, чтобы ему посочувствовали и не заставили платить

за

лошадь.

А на скалу Николай взбирался за травой с очень интересными фигурными листьями, со стебельками, похожими на блестящие изолированные проволочки, и с красивым названием – царские кудри. Он выковыривал ее из расщелин старым штыком, а, высу-

шив,

отдавал потом Сорочихе – старухе из райцентра, торговавшей на базаре лекарственными травами. Пожалуй, еще ни разу с самого детства Николай не вспоминал Сорочиху – она словно выпала из памяти, а тут явилась, как нарисованная, – сухая, с большим носом, с тонкими негнушимися в коленках ногами. Как-то зимой приехала она продавать серу и

по

дороге простыла. Сели они с матерью чай пить. Николай играл в другой комнате и вдруг слышит: на кухне птичка свистит. Он бегом туда: покажите птичку. А Сорочиха говорит: "Птичка в другую комнату улетела". Николай тогда все углы осмотрел, бегая из большой комнаты в кухню, из кухни в спальню, а свистящей птички все не видит. Сорочиха, на-

конец,

не вытерпела, засмеялась, и тут-то ее простуженный нос запел на все лады с переливами.

А из-за Сорочихи в памяти также ясно поднялся ее муж – дед Давид. Собственно, Сорочиху потому и звали Сорочихой, что дед был Сорокиным. Он строил у них гараж для мотоцикла (это воспоминание было еще более ранним). Дед Давид был громадный, с длинными руками, с редкими волосами, с отрубленным большим пальцем на левой руке.

Он

воевал на трех войнах. Вечерами он брал Николая на взрослое кино и держал на коленях.

Как

же это могло забыться!

А еще однажды наступил он на гвоздь, торчащий из доски. Гвоздь проткнул подошву сандалии и глубоко вошел в ступню. Николай тогда даже удивился этому факту – сам он гвоздей не боялся, его сандалии не протыкались. Кровь у деда Давида была почти черной,

и

ее долго не могли остановить. "Это потому, что я старый, и кровь старая", – объяснил он. Мать облила его ступню йодом, которая стала от этого такой страшной, что и у Николая заныла нога.

Бояркин вспомнил этих людей так, словно снова обрел их. И все это подсказала знакомая скала. Машина проскочила притененное, дохнувшее холодком пространство мгновенно, и нужно было уже смотреть на новое место, вызывающее новые воспомина-

ния.

Дальше и скала и речка расходились. С обеих сторон дороги потянулось кукурузное поле. Когда-то отец обрабатывал его на "Беларуси". Николай любил тогда кататься с ним, и

теперь

вспомнил, что здесь в траве около поля он видел однажды гнездо перепелки. Ласковым теплом и нежностью обдало и это маленькое воспоминание...

Первое, что бросилось в глаза, когда село выплыло из-за поворота, был новый мост, возвышающийся над приземистыми домами по берегам. Проехав заречную сторону, так

и

называющуюся Зарекой, вывернули на этот мост – широкий, железобетонный. Со старого деревянного, стоявшего ниже по течению, ныряли, а с этого не прыгнешь, да и Шунда

внизу

показалась узенькой и мелкой. Мост с высокой насыпью выводил дорогу сразу на центральную асфальтированную улицу, зеленую от развесистых черемуховых кустов в палисадниках.

– Не торопись, – попросил Николай отца.

Начали встречаться люди, многих из которых Бояркин не вспомнил ни разу за все четыре года, но которых оказывается, хорошо знал. Он ехал, смотрел на знакомые дома, заборы и с огорчением ловил себя на том, что сама родина волнует его все-таки меньше,

чем

волновали воспоминания о ней. В реальности все было более детальным, угловатым...

Однако это несоответствие рождало другое чудо – действительное накладывалось на воображаемое, каждый предмет был и таким, каким помнился, и таким, каков сейчас.

Одновременно и большим, как через детский взгляд, и нормальным, как через взрослый.

Приближался уже и свой дом. Впереди ехала телега на мягких резиновых шинах.

Лошадь держала голову вбок, словно прислушиваясь к перещелку собственных подков.

Человек на телеге сидел прямо, осанисто.

– Да ведь это же дядя Вася Коренев! Он что, снова конюшит? – сказал Николай, удивляясь неожиданно вывернувшемуся словечку "конюшит".

– Опять при конях, – ответил отец, – тут теперь большой табун-то.

– А Гриня где?

– С ними и живет. После техникума женился. Теперь уж ребенок есть. Гриня твой работает главным ветврачом...

И тут Николай увидел свой дом. Он каким был, таким и остался, только до самой крыши осел в разросшуюся черемуховую зелень.

– Остановись, – попросил Николай. – Вон там, около дяди Васи.

Василий, соскочив с телеги около своего дома, уже привязывал повод к штакетнику. Алексей бесшумно подкатил и засигналил. Василий оглянулся, склонившись, посмотрел, кто сидит в низком салоне "Жигулей", и шутливо погрозил кулаком.

– Здорово, соседи, – сказал он, улыбаясь вылезавшим из машины. – Давненько вас не видно. Что, Колька, отслужил или на побывку?

– Все, отслужил, дядя Вася, – откликнулся Николай, чувствуя, как его тянет посмотреть через дорогу на свой дом.

– Ну, так давайте заходите, – пригласил Василий. – И ночевать тоже к нам. Теперь родни-то у вас тут нет. Посидим вечером. Я сейчас Татьяне скажу, чтобы собрала, что надо.

– А Гриня дома? – спросил Николай.

– А вон прируб-то видишь новый – это он себе городит. Вроде и сейчас там. Отец с Анюткой поехали в магазин. Николай остался. Он с опаской обошел коня, который, подергивая кожей, отгонял слепней, и направился в сруб на посвист рубанка. В срубе пахло стружкой. Из пазов свисали мох, пакля... Николай остановился и стал смотреть, как молодой хозяин тешет половицу. Гриня оказался широченным в плечах, со всеми признаками матерой мужской силы, с рыжей, коротко подстриженной бородой, дававшей красный отсвет на все его лицо.

Работал он не спеша – все движения были давно продуманными и привычными. Ясно, что все делалось им надолго, может быть, на всю жизнь.

Оглянувшись и увидев Бояркина, Гриня заорал что-то неразборчивое и, сграбастав его в охапку, оторвал от пола.

– Красавец, красавец, – говорил он, с завистью и с иронией рассматривая форму. – Ну, так как ты? Что?

Николай сел в оконный проем, начал было рассказывать, но не выдержал и спросил о том, кто живет сейчас в их доме.

– Уваровы, – сказал Гриня, – из переселенцев, но самостоятельные, если сами дом купили. После вас дом уже во вторые руки переходит.

– Давай сходим к ним, а? Хочу посмотреть, а одному неловко: незнакомый же...

– Пошли... Мне-то что.

В воротцах Николай обнаружил другой шнурок – раньше был тоненький кожаный ремешок, который, – конечно, истерся. Но щеколда отозвалась тем же мягким звуком. Бояркин приоткрыл воротца и остановился – на дверях висел замок.

– Вот черт! – сказал Гриня. – Ну ладно, хоть так пойдешь посмотри. А я посижу на лавочке. Если кто из них появится, так объясню. Да иди же, не бойся. Что они, не поймут? Хорошо, что новые хозяева не держали собаку. Николай заглянул в баню, под стайку, в землянку, где зимовали куры. Осмотрел дощатый забор, частокол, крыши, но почему-то боясь к чему-либо прикасаться. Баня стояла теперь под шифером, а раньше была крыта драньем.

Доски драл еще отцов отец. Вода по таким волокнистым доскам хорошо скатывалась, и они долго не гнили. Но теперь, видно, и дранью пришел конец. Анюткиной ранетки в садочке и вправду не было – хозяева выбросили ее, переродившуюся в дичок, но взамен ничего не посадили. Остальные три деревца разрослись и сомкнулись друг с другом.

Николай вышел в огород, где рядами подрастала картошка. Взгляд его пробежал

задворки соседних домов, забор, огораживающий переулок, задворки домов, повернутых
в

другую улицу. Потом Николай посмотрел на небо. Оно было большим, с дымными
объемистыми облаками, такое же, как везде в этот момент, но Николай подумал, что
именно

из этой точки все это огромное небо, простирающееся над всей землей, – его небо.

Так

было с детства.

Возвращаясь из огорода через коровий двор, он остановился, почувствовав запах
сухого навоза, пыли, старого дерева и мякины. До службы он этих запахов просто не
замечал

– они были слишком привычными. Николай присел на кормушку с сеной трухой. Сквозь
часток видны были грядки. На одной из них, огороженной доской, поднимался густой
лук-

батун, что-то зеленело и на других, но нельзя было разобрать – что. Вот там-то он когда-
то и

шлепал в дождь босиком. Все там и сейчас росло так же тихо, незаметно, как тихо и
незаметно шло само время.

Сквозь голландку припекало солнце, и Николай повел плечами, на которых были
погончики с желтыми лычками и с зеленой окантовкой. Потом поднялся, вышел за ограду

и

опустился на лавочку рядом с Гриней.

– Долго я?

– А, ничего... – ответил Гриня, отвлекаясь от своих раздумий.

– Отцы-то, кажется, гульнуть собрались. Ты бы пригласил этих... Как ты сказал?

Уваровых?

– А зачем?

– Да просто интересно... Ну, ладно – надо еще бабушкин дом посмотреть.

– А на что там смотреть? Ломают его. Председатель колхоза на том месте планирует
себе новый дом строить.

– Да? Но я все-таки схожу.

Бабушкин дом стоял без пола и без крыши, с большими оконными проемами. Теперь
он казался окончательно выставшим, хотя солнечный свет в этих необычно высоких сте-
нах

казался очень ярким. Стояла тишина. Новенький Гринин сруб желтел свежим деревом, а
здесь солнце, отражаясь от беленых с синькой, облупленных стен, от серой сухой земли с
голубиным пометом, сыпавшейся с потолка, давало голубоватый холодный оттенок.

Большая русская печь стояла, как гусыня с вытянутой шеей. Оба подполья превратились
теперь в обыкновенные пыльные ямы, а были когда-то тайной, особенно подполье под
большой комнатой, куда картошку не засыпали. Там хранились еще дедовы плоские
жестяные коробочки для фотопластинок. Бабушка Степанида их не давала, не то по
привычке, не то берегла зачем-то...

Черемуха, что росла у крыльца и под которой бабушке все хотелось почему-то
сфотографироваться, была сломана, наверное, какой-нибудь балкой, брошенной сверху.

Зато

палисадник с дичками и большой ранеткой зеленел, как ни в чем не бывало. Целы, под
замками на дверях, остались амбар и завозня, которые могли пригодиться и новому хозя-

ину.

"Как же все это случилось? Как? – думал Бояркин, стоя посреди двора, густо проплетенного

стелющейся травой. – Почему же все у нас рушится?"

* * *

Для Степаниды последний год (уже без Марии с Алексеем и Анютки) показался очень трудным. Дочь и зять приезжали, правда, помочь управиться с дровами, с побелкой, с огородом, однако без повседневных житейских связей с родными старуха вошла в тягостное

одинокое, которое дети лишь скрашивали приездами, но не могли устранить. Зима, которую нужно было просто перетерпеть, ничего не делая, показалась особенно тягостной.

Для экономии дров Степанида закрыла одну половину дома, а в половине с русской печью поставила вдобавок железную печку. Зимой она пристрастилась читать "Роман-газеты", оставленные Марией. Читала, тихо нашептывая и останавливаясь, если что-нибудь напоминало свое. Особенно понравилось ей читать про большие дружные семьи, которые вызывали свои воспоминания. Бывало, что и смеялась в своем пустом доме, бывало, и плакала.

С тех пор, как дети стали разъезжаться, в колхозе многое переменилось. После Артемия было много других бухгалтеров, много было и председателей колхоза. У последнего

председателя оказалась нужда в квартире, и он облюбовал удобное место у конторы со старым домом и с одинокой старухой. Он погостил у нее, попил чаю, поболтал даже о том, о

сем и, наконец, высказал напрямик:

– Зачем вам, Степанида Александровна, такой домина? Дети у вас самостоятельные... Пусть о вас побеспокоятся... Продайте дом колхозу.

Дети давно приглашали Степаниду. Она не хотела обременять собой их хорошую жизнь, но совет чужого грамотного человека, председателя колхоза, заставил призадуматься.

Внук Колька, еще учась в десятом классе, сфотографировал ее под белой, как в пене, черемухой. И карточки были всем разосланы. Теперь уж внук дослуживает трехлетнюю службу, а она все живет да и живет. Так, может быть, правда, пристроиться поближе к кому-

нибудь из детей? И, главное, покупатель-то готов и дешево, должно быть, не заплатит.

В прошлое лето Степанида часто сидела на крыльце и думала об этом. От заброшенной стайки наносило прелой многолетней соломой. Черемушный куст, зонтом развернувшийся над крышей сеней, шелестел листьями, а если был ветер посильнее, то шуршал, скребся ветками по доскам. Жалко было дом... Он был старый, но, рассчитанный на

долгую жизнь, оставался сухим и крепким. По крепости ему не уступал и амбар под шифером, настолько плотный, что даже в яркий день туда лучик не проникал. Рядом с ним

была завозня с погребом, где все лето держался лед. Была еще летняя печка под навесом и баня с каменкой, топившаяся по-черному. Ближе к огороду – стайка для коровы, загорода

для свиней. За стайкой начинался большой огород для картошки и подсолнухов, а около бани

– грядки с капустой, помидорами, горохом, луком, морковью и маком для стряпни, с усатым

хмелем на высоких жердях.

Все хозяйство было когда-то уверенно настроено на полнокровную, долгую жизнь.

Теперь Степанида специально ходила и все рассматривала. Чаще всего останавливалась около потрескавшихся венцов дома. "Как продавать дом, если эти умело подогнанные бревна,

все еще хранили следы топора Артемия? Но кому теперь все это надо? – думала Степанида.–

Кто еще это помнит, кроме меня..." Пережила она в Елкино еще одну зиму, а весной, уже перед самой демобилизацией внука, продала дом, получила деньги в колхозной кассе и с хозяйственной сумкой тяжело пошла на автобусную остановку, чтобы уехать к Георгию на

Байкал.

* * *

Вечером собрались у Кореневых. Пришел сосед Уваров и, протянув черную от мазута руку – он работал трактористом, представился:

– Николай.

– Значит, мы с тобой тезки, – сказал Бояркин, знакомясь с ним и видя, что Уваров ненамного старше его.

Уваров был с пышными, округляющими лицо, бакенбардами, на какие коренные елкинские жители почему-то редко отваживаются. Держался по-свойски.

– Вы уж нас извините, – сказала Татьяна, хозяйка с крупными, "сельскими" морщинами, – сейчас и угощать-то особенно нечем. Как обычно летом.

– А мы с Колькой вчера овцу зарезали. У нас в совхозе с этим делом проще, – сообщил Алексей, уже достаточно пьяненький. – Как ты, Колька, про овцу-то сказал? Так сказал, что я

и сам-то ее чуть не бросил – до того жалко стало.

– Что? Что он сказал? – спросил Уваров.

Алексей пересказал разговор с сыном. Переселенец засмеялся, повернулся к Николаю.

– Ну, ты даешь, тезка... Ты запомни то, что бараны и остальные животные существуют для того, чтобы мы их ели, – подняв палец, заявил он. – Я где-то читал, что люди потому и выжили, что ели мясо.

– Но и без жалости бы не выжили, – сказал Бояркин. – Они или съели бы друг друга, или просто не стали бы людьми.

Уваров замолчал, пытаясь переварить сказанное. Гриня с одобрением взглянув на Николая, придвинулся ближе.

– Ты теперь снова в город? – спросил он.

– Так учиться же надо.

– А вернешься?

– Не знаю...

– Пра-авильно...– едко и сразу отчужденно произнес Гриня, – не возвращайся... А вместо тебя еще один тезка, еще один вот такой хищник приедет. И куда вы все бежите?

Если

уж вам нравятся городские удобства и условия, так давайте создавать это здесь – дома.

Да как

вы не поймете, что в стороне-то жить – это все равно, что в радуге половину цветов видеть...

Помнишь радугу-то, когда на конях ездили?

– Помню, хотя мне и не до радуги было.

Гриня засмеялся. Они принялись вспоминать о детстве. К их разговору

прислушивались, и тема, которую они тронули вначале, в разных местах преломилась по-своему.

– А я вон у сестры-то в городе была, так что у нее за жизнь, – вспомнила Татьяна, Гринина мать, – как явится с работы, так переодевается и ходит в тапочках на босу ногу.

И до

работы на улицу уже нос не кажет. Я у нее на шестом этаже, как на седале, сутки просидела,

так потом на улицу-то вроде как из больницы вышла. К чему такая жизнь?

С Татьяной все охотно согласились.

– Нет, Алексей, ты прямо скажи – почему из Елкино-то уехал? – допытывался в это время Василий Коренев у Бояркина-старшего.

– Ты же знаешь, какой здесь дом, – шепотом ответил Алексей. Он же совсем старый. А там я получил хорошую квартиру. Да и для хозяйства там простор.

– А машину-то ты на деньги от дома купил?

– Да у меня и так хватало.

Уварову тоже хотелось говорить, и он взялся спорить с Гриней.

Анютка сидела на другом конце стола и разговаривала с Ириной – Грининой женой.

Николай поймал взгляд сестры и кивнул на дверь. Он вышел первым, прихватив с вешалки

бескозырку, и, поджидая Анютку, смотрел на светящиеся окна своего бывшего дома, где осталась жена Уварова.

– Давай-ка сходим в клуб, – предложил Николай сестре. – Посмотрим на молодежь – там теперь, наверное, одна мелюзга осталась. Вроде тебя...

– Не задавайся, – с достоинством ответила Анютка, пристраиваясь сбоку. – Мама говорила, что ты вообще женишься на какой-нибудь моей однокласснице.

– Кто знает, кто знает, – сказал Николай и засмеялся, согретый такими предположениями матери.

Вечер был теплый и темный, но Николай узнавал дома и по светящимся окнам. И клуб ему показался вдруг таким родным и привычным, что, кажется, даже сами ноги узнали

его

ступеньки, освещенные все тем же неярким фонарем.

На крыльце толкались выпускники этого года и некоторые из окончивших школу в прошлом году. Бояркин помнил их пацанами, но теперь это были взрослые люди с усами, с

басовитыми голосами и, возможно, с серьезными планами в голове. Здоровались они основательно, за руку, и, наверное, удивлялись, что тогдашний старшекласник теперь уже не

такой большой, каким помнился. В их окружении Николай вовсе не чувствовал себя каким-то

героем; вся гордость убивалась мыслью, что он теперь здесь как бы не совсем дома.

Повзрослели и девчонки, сверстницы этих ребят, Анюткины подруги. С Анюткой все девчонки чуть ли не с визгом переобнимались и затараторили о своем, но, судя по скрыт-

ным

взглядам, выведывали о брате.

В клубе Бояркин понаблюдал за знакомыми, кое с кем перекинулся словом, а когда началось кино, вместе с Анюткой вернулся к Кореневым.

Отец с Василием дружно храпели в большой комнате на полу, Татьяна убирала посуду.

Анютка стала помогать. Николай присел сбоку, и они разговорились, помянув многие елкинские новости.

Оказывается, на вечеринке не обошлось без происшествий. Гриня спорил с Уваровым до тех пор, пока тот не бросился на него с вилкой. Гриня ударил его кулаком, расквасив нос и

губы. Потом вышвырнул гостя за ворота и ушел спать в амбар.

Николая тоже отправили в амбар. Там пахло, овчинами, конской упряжью и пшеничной пылью. Гриня спал, широко разбросавшись. Бояркин столкнул его, тяжелого, вялого, на одну сторону и лег рядом. Но заснуть не мог. Выпил он сегодня чуть-чуть и хмель

от сладкого вина ощущал слабо. Сами собой перед глазами мелькали яркие, но перепутавшиеся впечатления последних дней: седина родительских голов, новый елкинский

мост, голубоватая земля в бабушкином доме, сломленная черемуха... Глубокая растревоженность охватила Бояркина. "А в чем все-таки смысл жизни? – неожиданно подумал он и удивился: – Как это "все-таки"? Ведь столько уже мучительно думал об этом,

ведь, кажется, уже все решил. Решил, но все осталось нерешенным: этот вопрос, как камень

на берегу, – прокатилась через него волна, а он остался как был. (Слижут ли его волны всей

большой жизни?)

Теперь в этой новой жизни смысла не существовало до такой степени, что Бояркин чувствовал в себе готовность даже умереть легко и без всякого сожаления... Хотя нет, наверное, не умереть, а как бы умереть, но потом все-таки остаться и разобраться во всем; и

это правильно – в сильном человеке даже самое холодное отчаяние должно раздувать пламя

жизни. Сердце Николая колотилось и с отчаянием, и с грустью, и с нежностью. "Зачем же я

живу"? – думал он, не понимая чего больше в этом вопросе – боли или радости. Если моего

отца нет на работе, то его там не хватает. Знать бы, где именно на этом белом свете не хватает

меня".

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Утром все Кореневы, кроме Ирины с ребенком, разошлись на работу. Ирина поила гостей чаем.

– Ну, все, сегодня поедем домой, – сказал Алексей и взглянул на сына. – Ты, наверное, еще на кладбище пойдешь?

Николай на мгновение удивился, но тут же все выправил.

– Конечно, конечно, надо сходить, – сказал он.

Кладбище располагалось за селом на пологом склоне, открытом для солнца. Уже начинался яростный летний зной с многозвучным стрекотанием кузнечиков. У самых ворот

Николай оглянулся, потом присел на корточки и, сузив глаза от солнца, окинул взглядом все

сияющее чашеобразное пространство села. В первую очередь в глаза бросался опять же новый мост. Когда-то, прикидывая по опорам, Бояркин считал местность не подходящей для

моста. Как невозможно было, например, в узкий оконный проем вставить широкую раму, так и воображаемый мост не вмещался между ломами, стоящими у самой воды, с одной стороны и слиянием широкой протоки с рекой, поросшей в этом месте тальником, – с другой. И вот мост стоял господином. Он был мощнее всего вокруг. Он не втискивался и не приспособливался, а развернулся, как хотел. Дома с берега исчезли, а голубая жилка протоки, раньше вырезающая из поля большой остров, была передавлена одной из его ног. Без протоки знакомой картине не хватало какой-то завершенности, как инвалиду не хватает руки, отсохшей у плеча. Николай вспомнил рассказы о том, что раньше ребяташек пугали батхулами – беженцами, которые якобы скрывались в темном лесу около озер на той стороне Шунды. Но это рассказывала бабушка. Во время ее молодости лес поднимался там сразу от речки и тянулся вдоль всего берега. Бабушка любила о нем вспоминать вслух, и Николай, слушая ее, будто своими глазами видел тот лес, подступающий к воде вислыми ветками ильмов, под которыми дышали прохладой темные омуты. Воображались ему полноводные, глубокие озера с высокой, сочной травой по берегам и с желтыми карасями в глубине, мягкая земля с шелестящими листьями, с запахом хвои, доносимым ветром даже до села. Эту картину Николай всегда видел только в воображении, но ее потерю переживал как нечто реальное. Отец, чье детство пришлось в основном на послевоенные годы, помнил на той стороне Шунды только кустарник, Они еще пацанами собирали там какую-то ягоду под названием «кузьмич». «Что за ягода, не знаю, – говорил он, – больше нигде не видел. Она почему-то только там и росла. Может быть, ее надо было в «Красную книгу» записать». Николай же застал за речкой плоский остров, на большой площади которого стояло поодиночке в разных местах четыре куста боярышника. Летом на выгоревшем от солнца поле было невозможно даже сена накосить. И под пашню оно не годилось, потому что Шунда хоть и редко, но затопляла его. Но все же и тогда интересно было в протоке, на теплых перекатах, брызгаясь ногами, гонять мелких серебристых голянов. Тогда еще на поле оставалось три озерца, усыхающих в жару до грязных горячих луж. В них были пиявки, лягушки и крупные коричневые жуки. Сверху бегали водомеры, за которыми Николай долго наблюдал и видел даже маленькие ямки в водяной пленке от их длинных ног. Тогда было любопытно – намокают ли у этих «таракашек» ноги. А сосед – дряхлый старик Петруня, передвигающийся только с батожком и запутавшийся в собственной памяти, сказал как-то, что в них водятся караси, но, сколько ни закидывал потом Николай в те озера удочку, ничего, кроме тины, да

старой травы, нанесенной туда ветром, не поймал, А Петруню в то же лето ударил роди-
мец,
он упал лицом в ручей, протекающий через огород и захлебнулся. Возможно, он был
последним, кто помнил желтоватых озерных карасей. Теперь же на той стороне были
лишь
темные пятна – потрескавшийся кубиками ил, который еще не освоила ослабленная
зноем
трава. Остров, оставшийся без зелени и поившей его протоки, медленно умирал. Так
было
уже не первый год, и, казалось, никому не было до этого дела. Что ж поделаешь – такие
странные мы, люди: боимся терять сразу, но спокойно теряем постепенно, хотя посте-
пенно-
то мы теряем или утрачиваем иной раз куда больше...
Да и голубой Шунда казалась только издали, на самом деле, сколько помнил себя
Николай, вода в реке была мутной, потому что в ее верховьях драгами мыли золото.
Никому
эта муть не нравилась, но все молчали: слишком уж уверенно и трудолюбиво (чего чего, а
этого не отнимешь) пережевывали берега эти плавучие громадные и дорогостоящие
чудовища.
Николай поднялся и открыл скрипнувшие ворота. И хорошее это было место для
кладбища и плохое, потому что фотографии на памятниках могли видеть с его высоты не
только Шунду и новый мост, но и серые пятна бывших озер, и сухую протоку и все
остальное. Сколько людей смотрело отсюда с фотографий на незамысловатых памятни-
ках,
сваренных в МТС! Но больше всего было здесь задержившихся, безмянных бугорков
– те,
кто лежал под ними, ушли уже из человеческой памяти и находились теперь заодно с
дождями и снегами, с ветрами, с почвой, с березами, рябинами, боярышником, с пти-
цами,
которым по осени доставались щедрые кладбищенские ягоды.
Могила Генки Сомова, к которой Николай подошел в первую очередь, была уже самой
обыкновенной могилой – обдутой ветрами, затянутой полевой травой. Да и в памяти
стирались яркие подробности его гибели. И фотография на памятнике заменена. Сначала
была любительская – Генка стоял на берегу в светлой рубашке, с волосами, взъерошен-
ными
приречным ветерком. Смотрел он куда-то в сторону и улыбался. На той фотографии ему
было наплевать, станут его помнить или нет. На новой фотографии Генка уже не обладал
этой
независимостью, он, как и положено, сидел строгий, в галстук, и смотрел прямо, будто
требуя памяти. Теперь слово "покойник" к нему подходило. Николай долго смотрел на
Генку
и вдруг обнаружил, что его школьный кумир – всего лишь мальчишка, чем-то похожий на
матроса Манина.
На могилах Бояркиных лежали только стандартные, отлитые на каком-то заводе плиты
с фамилией и инициалами. Фотографий не было. Не осталось их и в альбомах – лица
родных,
не так уж давно и умерших, были навеки потеряны. Не зная, как принято посещать
могилы
предков, особенно если ты ничего о них не знаешь, Николай опустил на теплый ржавый

камень и с минуту сидел, потупив голову и наполняясь тишиной. "Вот передо мной многочисленные решетчатые оградки, – подумал он, – вот на одном железном пруте потек

голубой краски. Вот в шершавом пырее скатившаяся с какой-то могилы эмалированная кружка с пробитым дном. Мою спину греет солнце, и на траве от меня короткая тень.

Я сижу

почти в центре кладбища и вижу мое село, в котором родился и вырос. Оно как на ладони: каждая крыша – маленький квадратик. Это большое село, но с самолета оно выглядит мизерным. Оно находится среди других сел, среди городов, среди гор, степей, огромных лесов. В разные стороны от него – моря, океаны, материка. В это мгновение жизнь бурлит повсюду: люди на земле смеются, плачут, рождаются и умирают, воюют, убивают, празднуют

победы; в море идет косяк рыбы, качаются плавбазы, несутся пограничные корабли, а на одном из них мои товарищи, которыми командует Батя, Командир – капитан третьего ранга

Осинин. В эту минуту не живет уже Генка Сомов, не живут миллиарды таких же людей, как

мы (но миллиарды пока еще не родились)".

Глядя на многочисленные могилы прародителей, Николай попытался разобраться, кто тут кем кому приходится. Быстрее всего он определил могилу бабушки Катерины – отцовой

матери, удивившись, однако, тем, что, оказывается, ничего не знает ни о ней, ни о деде Иване, погибшем в войну. Отец никогда не вспоминал о них, но Николай, пристыженный теперь этими немymi для него плитами, понял, что память должна быть самостоятельной,

без оглядки на кого бы то ни было, хоть бы и на отца, и что, пожалуй, многое может рассказать дядя Миша.

Николай решил поискать своих предков и со стороны Колесовых. Их могилы отыскивались во всех частях кладбища, но это были разные корни, и Бояркин не мог определить свой.

Бродя по кладбищу, Бояркин обнаружил много знакомых односельчан, о смерти которых он даже не слышал. Странно было встречать их не на улице, а здесь. Долго простоял

он перед могилой Пимы Танина, оказавшимся на самом деле Болдыревым Пименом Ивановичем. Это был тот самый старик, который на сенокосе рассказывал смешные истории

без конца. Даже теперь, увидев его лицо, Николай чуть было не улыбнулся – это было почти рефлексом. Ясно еще помнились короткие, легкие жесты Пимы, интонации его хриповатого,

какого-то горьковатого голоса. И вот Пима окончился этим молчанием и слепой глиной, вывороченной из глубины. Навалившись на оградку, Николай прижался глазами к руке.

Слышалось лишь сухое стрекотание кузнечиков – любимый шум детства. В этом искрящемся

море звуков можно было услышать и неясные человеческие голоса, и песни, и даже музыку.

Вспоминая этот стрекот на службе, Николай сразу представлял жаркое лето и стебли разнообразной забайкальской травы, прокаленной солнцем до ломкой жесткости. Но теперь

он захотел услышать это звуковое море, как гомон людской толпы, как голоса тех людей, что

здесь похоронены.

Но кругом был тот же яркий свет солнца и молчаливые бугры. "Действительность никогда не подчинится человеческой фантазии полностью, – подумал Бояркин. – Она всегда

будет такой же жесткой, необратимой". Он глубоко, до боли вздохнул и оттолкнулся от оградки.

С краю у штакетника кладбища оказались два совсем свежих земляных холма.

Николай вспомнил, что вчера вечером, убирая посуду, тетя Таня рассказывала о вдовом трактористе Миронове, который недавно привез из Глинки женщину с уже взрослой дочерью, и вот неделю назад, когда они ехали на мотоцикле, их сбила машина. Сам Миرون

ов отделался переломами, а женщина и ее дочка погибли. Фотография девушки была, видимо,

вырезана из большого портрета, потому что весь квадратик занимало одно лицо.

Выразительность этого лица удивила Бояркина. При фотографировании девушку кто-то, кажется, пытался рассмешить из-за спины фотографа, и, рассматривая снимок внимательно,

Бояркин вдруг по одному этому живому ее движению понял не только весь ее характер, но и

каким-то образом ясно представил фигуру, жесты. Он подумал, что, увидев эту девушку где-

нибудь на улице, он мог бы сказать о ней очень многое, что она вообще была бы для него понимаемой полностью. Не задержись Бояркин на службе, они бы встретились. И кто знает,

не сдвинулись бы тогда все события хоть на одну секунду, достаточную для того, чтобы смерть пронеслась скользом... Сделав уже достаточно нерадостных открытий, Бояркин устал

от кладбища, и это его последнее предположение переполнило чашу. Он опустился в траву

около оградки и заплакал. В этот момент Бояркин хорошо помнил о закончившейся серьезной службе, о своем повзрослении, но, не сдерживаясь наедине с собой, он плакал и сразу обо всех потерях, и о себе самом и о своей потерянной, как ему казалось, родине,

и об

этом несчастном мире.

* * *

В Ковыльное поехали после обеда. Пока Николай ходил на кладбище, Анютка поссорилась с отцом, который собрался было и на обратную дорогу купить бутылку. Прощаясь с селом, которое он теперь неизвестно когда увидит, Николай все смотрел в заднее

стекло. Вместе с грустью на душе было ощущение выполненного долга. Много думая о родине на службе, Николай стал невольно считать, что и родина не может быть равнодушной

к нему, даже если кроме бабушки Степаниды никто его больше там не ждет. К родине Бояркина влекла не только душевная, тяга, но и какая-то необходимость показать ей себя. "Вот я и отметился", – думал он теперь.

От самого Елкино Бояркин молчал, и, лишь когда проезжали кукурузное поле, он спросил у отца, как называется это место.

– Табданиха, – все еще обиженно буркнул Алексей.
– Да, да, Табданиха, – вспомнил Николай. – Интересные у нас названия. Взять хотя бы Шуругун, или Маяшна или вот еще Еганза. Что они означают?
– А черт их знает! Навыдумывали тоже...
– А все-таки Елкино есть Елкино. Не Ковыльное...
– А-а, да одно и то же. Там и там ловить нечего...
– Но Елкино наше село... Там бабушка Катерина – твоя мать похоронена. Дом дедовский. Надо помнить это...
– Помнить, помнить, – зло передразнил Алексей. – Хочешь помнить, так везде будешь помнить!

Сам Алексей умел помнить без душевной привязанности и всякая "чувствительность" памяти раздражала его. Про кладбище он подсказал сыну лишь потому, что брат Михаил,

с
которым они трижды приезжали из Ковыльного, ходил туда каждый раз. Впрочем, в первый

свой приезд они отправились на кладбище вместе. Михаил остановился тогда у могилы матери и молча потупился. Подошел Алексей.

– Ну что, спишь, мамка? – без оттенка скорби, как к живой обратился он.
– Замолчи! – резко оборвал его брат.

Михаила – фронтовика-пехотинца, навидавшегося смертей, покорило именно от того, что младший брат обратился к матери, как к живой. И после он ходил на кладбище один.

– Знаешь, батя, что я скажу, – с расстановкой проговорил Николай в бешено мчащейся машине. – Сейчас я собрался в институт, но если бы вы жили в Елкино, то я бы к вам все равно когда-нибудь вернулся, а в случае неудачи с поступлением, уже этой осенью. А

так...

Мне там делать нечего. Мне там все чужое.

Отец вздохнул и сбросил газ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Осенью Бояркин уехал в уже знакомый ему до службы город и поступил на исторический факультет педагогического института.

За учебу он принялся с жаром. Армейская "центрифуга" учебки без промежутков между событиями научила пользоваться временем очень экономно. Да и убеждение, что жизнь – это, прежде всего заполненное время, уже настолько вошло в саму кровь, что бездельничать без угрызений совести стало невозможно.

Жил он в общежитии. В одной комнате было шестеро ребят, все после армии.

Однажды кто-то даже предложил поставить кровати по-казарменному, в два яруса, чтобы было просторнее. Переоборудование легко удалось, но через неделю к ним, звеня ключами,

чiami,

зашла комендантша – грузная, краснощекая женщина и посчитала это нововведение опасным. Пришлось прямо на ее глазах наводить "порядок".

Из сокурсников в комнате жил только Мучагин – студент с белым, холодным лицом, стройный, как стрелка. Мучагин любил споры и обычно, чем сильнее зажигался, тем стремительней ходил между кроватями, тем торопливее говорил, тем резче жестикули-

ровал,

как бы вырубая из пространства острые углы. Николаю он понравился умением организовывать

свое время. Все бытовые заботы Мучагин заменил выработанными привычками. Никогда

не

собираясь, например, погладить брюки или почистить туфли, он при необходимости делал

это автоматически, не задумываясь. Просто любое отступление от нормы сразу по определенной программе включало ему руки и ноги, минуя голову. Мучагин обычно не выходил из комнаты, не унеся чего-нибудь, и не возвращался, не принеся, да умудрялся сделать еще что-нибудь попутно. Если же случалось, что он забывал куда-то зайти, то, сознательно наказывая себя, мог вернуться туда хоть от порога комнаты. Мучагин любил слово "принцип", но, главное, он мог свои принципы выдерживать. Дав, к примеру, зарок

не

ходить по газонам, какая бы тропинка ни была там уже протоптана, он действительно не ходил, повлияв этим на некоторых сокурсников, и в том числе на Бояркина.

Настоящие разногласия между ними начались со споров о личности. Становлением личности Мучагин считал отбор и усиление в себе отдельных качеств – это как раз была

еще

доармейская позиция Бояркина. Мучагин держался ее тоже очень принципиально, а теперешние взгляды Бояркина о всевозможном расширении личности считал "размытостью".

– Да не размытые, а более широкие, – уверял его Николай. – Когда-нибудь тебе тоже придется свои взгляды "подразмыть".

– Никогда! – кричал Мучагин. – От намеченного я не отступаю. Армия и меня научила кое-чему.

Во время споров Бояркин сидел в углу на своей кровати, провалившись в вытянутую сетку. Мучагин – в соседнем углу напротив, но его сетка не провисала, потому что он подложил снизу доски. Он сидел прямой, всегда готовый вскочить и начать бегать. Очень редко Бояркин тоже распался до того, что выбирался со своей сетки и начинал говорить стоя. При этом он сразу отбрасывал дипломатические ходы, которых у него и так было немного, отбрасывал намеки и резал все напрямик. В такие моменты со стороны могло показаться, что они вот-вот раздерутся.

Позже в их спорах стал принимать участие другой сокурсник – Миша Тюлин, который жил вместе с родителями совсем рядом и заходил в общежитие поболтать. Учиться Миша поступил через год после армии и успел отрастить длинные волосы, лежащие на ворот-

нике и

еще более усиливающие его сутулость. Он походил на какого-то матерого мыслителя,

любил

поговорить о Гоголе, о Чехове, о Бунине и, смакуя, зачитать отрывок вслух. Весь преобразившись, он читал с завыванием, с нажимом, словно в книге были написаны

совсем

не те слова, которыми люди пользуются каждый день. Обоим его товарищам было стыдно при такой читке смотреть друг на друга, а тем более на Мишу, который попросту упи-

вался

собой. Во время споров рассудительный Миша Тюлин по-председательски устраивался в центре комнаты за столом с алюминиевым чайником. Сидел он на самом краешке стула, раздвинув массивные колени, и от падения его удерживал стол, на котором он лежал

грудью.

Больше спорили его товарищи, а Тюлин лишь поворачивал лохматую голову с круглыми, блестящими стеклами очков то в один, то в другой угол.

Часто, обсуждая дела в институте, преподавателей, материал, который изучался, они были многим недовольны и возмущались. Отвозмущавшись, Тюлин и Мучагин с облегчением успокаивались, Бояркин же успокоиться не мог, и все пытался вернуться к

больному вопросу. Он еще на службе интересовался педагогикой, почитывал, что удавалось,

и имел об учебе свое представление, которое теперь вдруг очень резко разошлось с тем, что

было на самом деле. Больше всего ему не нравилась сама программа, в соответствии с которой, по его мнению, изучалось много ненужного, а нужное пропускалось. Недовольство

учебой в институте становилось у него все острее.

* * *

В начале весны Мучагин вдруг женился и ушел из общежития, оставив кровать с матрасом, скрученным рулоном, и с досками, торчащими из-под сетки. Его свадьба состоялась после двух или трех свиданий, но была грандиозной. Мучагин называл ее комсомольской. Со стороны жениха присутствовала группа первого курса, со стороны невесты – группа четвертого.

За неделю знакомства молодые успели не только узнать друг друга, но и купить на деньги сельских родителей домик в городе. Свадьба, отмечаемая уже в этом домике, едва вмещалась в его малую площадь. Даже современные танцы, для которых было достаточно лишь стоять на полу, не получались. Пара была признана идеальной. Они были ровесниками.

Оба тонкие и высокие. Но если Мучагин и по внешности, и по темпераменту был похож на

минутную стрелку, то невеста – на часовую. Конечно, она должна была следовать за минутной, но уже зато показывать основное время. Мучагин был весел, как герой. – Ну-ка, признайся, удивил я вас? – спросил он Бояркина, который сидел в углу и думал о своем.

– Удивил, – сознался Николай. – Но я тоже скоро вас удивлю.

– Тоже женишься?! – одобрительно воскликнул Мучагин.

– Развожусь, – усмехнулся Бояркин, – с институтом.

– Да ты что!? Почему?

– Надоело все...

– Как это надоело? Ну и ну. Сейчас мы с тобой разберемся. Миша! – крикнул он, отыскивая Тюлина. – Продирайся сюда!

Миша с трудом продрался, но поговорить в суматохе не удалось. Николай догадался, что своим тусклым видом он просто портит людям праздник и, выбрав момент, выскользнул

за дверь.

Через неделю товарищи пришли к нему в общежитие. Бояркин лежал на кровати с книгой.

– Что читаем? – поинтересовался Тюлин.

Николай на мгновение с силой зажмурил уставшие глаза и вместо ответа протянул книгу.

– Кажется, не по программе, – проговорил Мучагин и начал листать страницы.

– По программе четвертого курса, – уточнил Бояркин, опуская ноги на пол, – хочется знать, что именно я теряю.

– Так ты серьезно? – спросил Тюлин, приспосабливаясь на своем месте за столом и радуясь возможности поговорить. – Ну и как книга?

– Я просмотрел не только эту. Ну, в общем, некоторая потеря есть.

– Так в чем же дело?! – воскликнул Мучагин. – Ты что же решил, что не годишься в учителя?

– Потенциально гожусь. Но если я и дальше буду, как проклятый вбивать в голову эти учебники, то из меня получится мешок информации и не больше. А ведь нам надо расти – расти как личностям...
– Далась тебе эта личность...
– Ну, а как же иначе-то, Миша! У нас на службе для работы на серьезной аппаратуре требовался определенный допуск – некая гарантия твоей надежности. А что должно быть допуском учителя, когда он идет в класс? Сумма знаний? Черта с два! Допуск учителя – быть личностью. А личность – это человек с духовным оттоком, потому что центр личности состоит из какого-то неугомонного моторчика с пропеллером. А сейчас из института вылетают с пропеллером, с дипломом, то есть, но без моторчика. За выпускником остается жизнь из лекций и корпения над книгами, из зачетов, из праздничных вечеров с танцами, из полутайных выпивок, из временных знакомств с женщинами, когда самое страшное – завязнуть в какой-нибудь связи. Все это романтика студенческих будней. Остается правда, и гражданская романтика – работа проводниками в поездах, в строительных отрядах – ура, ура, какие мы молодцы, что работаем раз в год, что создаем, калымим, приучаемся, постигаем на практике! Да разве это серьезно? Студента, этого молодого, здорового человека, в течение нескольких лет, как желторотика подкармливают стипендиями, родительскими переводами, льготами на дешевый проезд. Так откуда же взяться в нем этому моторчику – личности? – Ерунда, – перебил Тюлин, – каждый творит себя сам.
– Но важно – из чего творит. И как скоро... А ведь студенту-то уже через пять лет предстоит воспитывать, учить – и учить ни много ни мало, а жизни! Да ведь это же авантюра!
Авантюра... Так вот, участвовать в ней не хочу, потому что я и сам жертва такого авантюрного образования. Не знаю, может быть, вы как-то и творите здесь себя, но я уж даже перед самим собой устал притворяться...
Мучагин уже вовсю ходил между кроватями. Пока говорил Бояркин, он на какое-то мгновение присел на голую панцирную сетку и тут же снова вскочил.
– Ты что же, не согласен с системой нашего образования? – спросил он.
– Я не согласен с ее несовершенством, – ответил Бояркин. – Я не знаю, как надо готовить других специалистов, медиков, например, но уверен, что педагогов так штамповать нельзя. У каждого учителя должен быть свой, хорошо осмысленный жизненный опыт, ведь учитель должен представлять собой рабочий инструмент, который называется – личность. И напрасно вы смеетесь, Ой, ну как вы не поймете, что если я своими руками построю, например, дом, то мне это, как человеку, как учителю, даст куда больше, чем вся студенческая жизнь.
Тюлин засмеялся.

– Я вот вообразил, – сказал он, – хороша методика подготовки. Вывалили, значит, студенты в чисто поле и да-авай строить себе по хижине. Прелесть! Только что же они потом

будут преподавать? Устройство колуна? Как, по вашей теории, профессор, современная система хороша хотя бы тем, что дает знания бедному студенту?

– И тут дыра. Например, четверокурсники, у которых я взял учебники, уже не помнят того, что изучаем мы. В их опыт это не перешло. С хижинами, ты, конечно, посмешил, но ведь я хотел сказать, что для делания педагогов необходим особый образ жизни, наполненный не только активным познанием, но и активным личностным накоплением; видимо, для полноценного образования нужно не только сразу же задействовать новые знания в мыслительный процесс, как я думал раньше, но и тут же обращать в дело...

Короче

говоря, истина где-то здесь... в труде... В какой-то новой системе, еще не существующей сегодня.

– И как ты не поймешь, что, покинув институт, ты просто погрязнешь, – с грустью мудреца произнес Тюлин. – У тебя появятся новые, очевидно, более суетные интересы и заботы.

– Погрязну? Конечно, другая обстановка, тем более рабочая, меня изменит, но этого-то я и хочу.

– Ну, а конкретно-то, как ты думаешь жить? – настойчиво спросил Мучагин.

– Буду работать на заводе. Общаться с людьми, думать и читать. Читать, конечно, меньше, но уж зато так, чтобы воздух над головой светился. Если придут новые заботы – пусть. Значит, они важнее. Вообще буду интересоваться тем, о чем спрашивает жизнь.

Она

обычно у каждого спрашивает что-либо индивидуально. Мне в последнее время она задает в

основном вопросы с педагогическим уклоном. Надеюсь, так будет и дальше.

– Ну и ну-у, – протянул Тюлин. – Христос-спаситель с нимбом над головой. А как же быть нам дуракам несчастным? Ты позволишь нам до твоего второго пришествия попредовать неправильно? Да ты оригинал, однако! – воскликнул он, словно это была неожиданная догадка.

– Да не дури ты, в конце концов! – сказал Мучагин. – Так просто взять и бросить институт! Ведь даже если ты чего-нибудь добьешься, то все равно останешься непри-

знанным

кустарем.

– Э-э, да главное был бы толк, – ответил Бояркин, махнув рукой. – Вы поймите, что я хочу уйти не от лени, а от желания сделать больше. Мне просто открылся другой путь – я понял, что наиболее полно все проблемы современной педагогики заключены в уже сложившихся людях, которых принято считать уже как бы за ее бортом. Надо пожить с

ними

рядом, понаблюдать, попытаться воздействовать. Для того чтобы научиться делать профилактику болезней, надо знать болезни в их развитых формах. Ведь так?

– Тогда тебе нужно в колонию, – вставил Тюлин.

– Конечно, это неплохой вариант, – ответил Бояркин, – но я думаю, что крайность не дает объективного представления, особенно в педагогике.

– Но зачем же институт-то бросать? – с напором сказал Мучагин. – Круг педагогически больных людей можно и здесь наскрести.

– Уж не себя ли вы имеете в виду? – засмеявшись, спросил Бояркин. – Оба вы не любите того, к чему идете, но все-таки идете!

– Ну, хотя бы нас изучай!

– Какое тут может быть изучение, когда я вынужден все время читать, зубрить... Мне нужна как раз свобода от института.

Спорили потом еще долго, но главный вопрос был уже решен.

– Итак, Бояркин пошел в люди, – изрек Тюлин свое заключительное слово.

В конце мая, в один сумрачный, но теплый день Николай решился, наконец, забрать документы. Потом, уже выйдя из ректората, он задумчиво остановился у окна в пустом коридоре. Мимо прошли преподаватели. Николай повернулся и поздоровался. Они не

знали

еще об его уходе, а то, возможно, попытались бы отговорить – все-таки он был не на плохом

счете, если не считать иностранного языка, где как следствие его "авантюрного" образования,

зиял основательный провал. Никаким уговорам Николай, конечно же, не поддавался бы, но ему

хотелось последний раз испытать свою позицию. Среди преподавателей был молодой чернявый аспирант-историк с тонкими усиками и толстыми губами. Он тоже служил когда-то

в морских погранвойсках и с Бояркиным они сошлись особенно. Вот с ним-то было бы полезно перемолвиться сейчас, но в присутствии коллег историк держался слишком "по-преподавательски".

Слегка волнуясь, Николай простоял еще минут пять в этих знакомых стенах, потом взглянул на часы и заспешил в буфет, но, спустившись на первый этаж, он не пошел на привычный тихий шум и звяканье стаканов, а решил, что лучше перекусит где-нибудь в городской столовой; видеть сокурсников и знакомых было уже нелегко.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

По дороге к Никите Артемьевичу Бояркин вспомнил, что однажды он уже ехал к нему вот так же с чемоданом. Тогда он еще заблудился в городе, да и, вообще, в ту осень он просто

утонул в океане безликих, как ему казалось, людей. Теперь они безликими ему не казались,

потому что и сам он приобрел свое лицо. Даже сейчас, оттолкнувшись от берега и никуда не

пристав, он ощущал себя самостоятельным и надежным. В друге он хотел теперь видеть не

столько опоры, сколько "созвучие". "Наиболее благоприятным и полным может быть только

общение мужчины и женщины, поскольку природа дала им различные взгляды и ощущения –

так сформулировал он это "созвучие" в дневнике. – Гармония мужской личности невозможна

без связи с женской".

На дядину квартиру Бояркин приехал вечером. Дверь ему открыл сам Никита Артемьевич. В узкой прихожей им стало тесно, потому что у Николая был большой чемодан

с книгами и пухлая сумка с вещами. Дядя отступил назад, рассматривая племянника.

– Здравствуйте, – сказал Николай, для экономии места пытаюсь взгромоздить сумку на чемодан.

– Здорово, племяш, – как-то разочарованно сказал дядя и ушел на кухню.

Николай долго старательно шаркал ногами, пока не сообразил, что туфли все равно нужно снять. Судя по тому, как быстро открыли ему дверь, как тут же нетерпеливо выгля-

нули

из-за дядиной спины Олюшка и Генка, здесь кого-то ждали, но только не его. Во время учебы

в институте Николай бывал у них не часто, но семейную атмосферу знал хорошо.

Жизнь Никиты Артемьевича за почти четыре года изменилась только внешними

приметами. Сильно вытянулись дети от первой жены, а Андрюшке, сыну от второй,

исполнилось три с половиной года. За это время вместо "Запорожца" дядя приобрел

"Волгу"

и гараж у самого дома. Пропорционально этим изменениям возросло и дядино самомне-

ние.

Никита Артемьевич вообще умел гордиться всем, чем только было возможно. Племянником

он тоже гордился, и если с кем-то знакомил, то обязательно сообщал его почетный титул – "студент".

Сейчас дядя был отчего-то сильно не в духе, а Николаю предстояло сообщить, что он уже не "студент". Бояркин прошел за ним на кухню, обставленную шкафами молочного цвета, и сел на табуретку в свой привычный уголок.

Николай Артемьевич, никогда не пивший без причины, сразу же извлек из холодильника бутылку вина и равнодушно предложил:

– Ну, выкладывай...

Бояркин сразу напрямик сказал главное и начал сбивчиво докладывать о выгодах самообразования, о скудности институтской жизни для созревания личности...

– Ну, хватит, – прервал его дядя, – ты мне мозги не пудри – они у меня и так того...

Скажи прямо – в чем дело?

– Если прямо, – сказал Бояркин, спохватившись, что напрасно заехал он в высшие материи, – то надоело мне, такому лбу, жить несерьезно, с родителей тянуть. Пора на ноги становиться... Да и к чему эта учеба? Ты же знаешь, кто сколько получает. К вам я нена-

долго

– пока не устроюсь на работу и не выпрошу место в общежитии.

– Да ничего, оставайся, теперь не стеснишь, – задумчиво сказал дядя, автоматически принимая новое, подходящее ему объяснение.

Ничто его особенно не удивило. Он спокойно посоветовал, как лучше успокоить родителей, где выгоднее работать, чтобы скорее получить квартиру.

– Или вот еще вариант, – сказал дядя, на минуту оживившись, – тут соседка одна... Год как вселилась. Чуть тебя постарше. Работает учительницей. Красавица! Познакомься...

Квартира, правда, однокомнатная, но не общежитие же...

– В этом подъезде только одна такая квартира, – вспомнил Николай, – Но когда я учился в ГПТУ, то в ней жил дядя Федя. А он сейчас где?

– А-а, так ты и не знал... На кладбище теперь дядя Федя. Сгорел от водки...

– От водки! Вот так-так. Да он же капли не брал...

Некоторое время сидели молча.

– А ведь какой мужик был, – добавил Николай. – Нет, не могу поверить. Как-то уж совсем нелогично. Неужели так бывает?

– Да бывает, видно, – сказал дядя. – Вот и у нас с Анной... Тоже, как ты говоришь, нелогично... Ушла она к какому-то командированному. Вот так... Андрюшку к своей

матери

увезла.

Дядя опустил голову, сжался, словно прищемил внутри себя что-то острое.

– Эх, да мне Андрюшку больше всего жалко-то, – добавил он. – Приеду обедать, а он залезет в кабину и пыхтит там чего-то, тарахтит, рычаги дергает...

У дяди в голосе что-то оборвалось, и он отвернулся.

– И ничего уже не сделаешь? – спросил племянник.

– Ничего... А чего еще?

Дядя сидел в одной майке. Его фигура с выпирающими буграми, была в этот раз осевшей, расслабленной. Никита Артемьевич вертел пальцами тяжелую вилку, которая вдруг,

вывернувшись, с резким звоном упала на край тарелки. Дядя вздрогнул и, мгновенно взбесившись, выскочил из кухни. Почти тут же он вернулся в накиннутой "олимпийке" и с хрустом застегнул замок-молнию.

– Хватит нюнить! – резко бросил он. – Я знаю, где они устроились. Еду, забираю – и весь разговор!

Поехал и Николай. Опасаясь милиции из-за запаха вина, дядя вел машину по каким-то закоулкам, и Бояркин потерял направление.

– Не пойму бабу, – говорил Никита Артемьевич. – Ты же знаешь, какая она с виду. За меня вышла в тридцать шесть и до этого никого не имела. Говорит, не любила никого.

А я,

главное, почему обратил на нее внимание-то. Ты представляешь, что значит, работать диспетчером среди шоферов, когда каждый мужик норовит похлопать, да погладить или

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.